

Мосиѣ Тришашвили

Литературная  
Богемия  
Старого  
Абхазии





იმსახურე პენიონატში

ქველი  
თბილისის  
ლიტერატურული  
მუზეუმი

Мосиу Трншашвнли

Литературная  
Воегелა  
Старого  
Абнлиси

Тбилиси «Мерани» 1989

Гришашвили (Мамулашвили) Иосиф Григорьевич (1889—1965), народный поэт Грузинской ССР, академик АН Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР. Автор поэтических сборников лирики «Избранное», «Из глубины сердца» и др. Исследователь истории грузинской культуры.

«Литературная богема старого Тбилиси» наиболее значительное исследование поэта жизни города середины XIX века.

Редактор  
академик АН Грузинской ССР  
Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ

Художник  
З. А. НИЖАРАДЗЕ

Текст подготовлен Главной редакционной коллегией по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии

საქართველოს  
პარლამენტის  
ბიბლიოთეკა

Г 4702017200—87 151—89  
М 604(08)—89

© Издательство «Мерани», 1989

75.694  
3

ს  
პ  
ბ

Романтика древнего города вскормила Иосифа Гришашвили, и остра была боль неизбежного расставания с нею, но, быть может, именно она озарила его творчество особым светом.

Ты прочитал иероглифы,  
И хроники тебе дались,  
А видел ли, какой олифой  
Старинный выкрашен Тифлис?

Блуждая в грязных Сирачханах,  
Былого ярком очаге,  
Дивился ль бурдюкам в духанах,  
И чианурам и чарге?

И если к древностям забытым  
Я нежности тебе придам,  
Легко поймешь, каким магнитом  
Притянут я к его вратам.

И ты поймешь, за что нападок  
Я у поэтов не избег,  
И силами каких догадок  
Я воскрешаю прошлый век.

Вот зрелище — глазам раздолье!  
Но и следов уж не найти  
Ковровых арб на богомолье  
С паломниками на пути.

Вино на кладбище не льется,  
Оборван на платке гайтан\*,  
О чоху черную не трется  
К дверям привязанный баран,

Исчез кулачный бой, амкары,  
Игра в артуму, плясуны,

Все это достоянье старой,  
Давно забытой старины.

Я на спине лежу на кровле.  
Рассвет огнем взрывает высь,  
Мой слух далеким остановлен —  
Зурны разливы раздались.

Я жду мелодии знакомой  
С конца дороги проездной.  
Но ветер, не достигнув дома,  
Ее проносит стороной.

Взамен шикасты\*\* — пара высвист  
И частый стук по чугуно.  
Напев, будивший вихрь неистовств,  
Как в клетке соловей — в плену.

С кем разделить мою незванность?  
Я до смерти ей утомлен.  
Меджнун без Лейлы, я останусь  
Предвестником других времен.

Старинный мой Тифлис, не надо!  
Молчу, тут сил моих предел.  
Но будь, преданье, мне в отраду  
Таким, как я тебя воспел.

Старинный мой Тифлис — сомненьям  
Нет доступа на этот раз.  
Расстанемся и путь изменим.  
Прощай! Будь счастлив! В добрый час!

(Перевод Бориса Пастернака)

«Книгой прощания» можно бы назвать одно из лучших творений поэта — «Литературную богему старого Тбилиси». Это удивительная книга: она — исповедь и научный труд, признание в любви и открытие целого мира безымянных дотоле певцов. Она жизнерадостна и грустна едва уловимо, как все, чем жил и с чем должен проститься.

На склоне лет поэт говорил автору этих строк: «На моих глазах зарождался новый город. Я, так сказать, был его повивальной бабкой. Рос он стремительно — не уследить было». И тут же признавался шутя, что новое и без него обойдется, у нового свои стежки-дорожки, а ему все равно ни-

\*Бахрома.

\*\*Грустная песня.



куда не деться от дорогой старины. Он говорил еще, что мечтает засесть за свою «поседевшую» книгу — «стариков то и дело подлечивать надо» — с двадцать седьмого года, с той поры, как «Богема» увидела свет, много воды утекло, а материала накопилось видимо-невидимо... Он говорил еще, как важно знать прошлое своего города, «иначе не понять его людей, иначе и лицо свое потеряешь, а безликий человек не может по-настоящему жить в настоящем», и с гордостью подчеркивал значение «своей богемы» в изучении этого прошлого.

Он говорил, растягивая слова, как стихи читал, приглаживал белыми пальцами седую, словно прокуренную табачным дымом, поредевшую прядь волос, улыбка скользила по краям его полных губ.

То было в 1960 году, в дни, когда народный поэт Грузии, академик Иосиф Гришавили передал в дар народу собранную им библиотеку в шестьдесят тысяч томов и среди них «Литературную богему старого Тбилиси», к тому времени библиографическую редкость.

Тогда он не хотел переиздавать ее, расширял, дополнял, переписывал заново отдельные главы, но тяжкая болезнь заставила прервать работу. В архиве поэта сохранилось множество рукописей — дополнений к заветной книге с указанием глав, куда они должны быть внесены. Эти дополнения частично использованы в русском переводе. Среди них и фрагменты из гришавилевской монографии «Саят-Нова». Обойти их нельзя было, ведь «Саят-Нова» предваряет «Богему», и автор часто на нее ссылается, а книга эта на русский язык не переводилась. Мы сочли себя вправе использовать в переводе «Богемы» те отрывки из «Саят-Нова», которые связаны с ней непосредственно. Таковы, к примеру, главы об ашугах, музыкальных инструментах, кулачном бое и т. д.

В текст же перенесены пространные комментарии из «Богемы», и это несколько не мешает повествованию, напротив — помогает читателю, часто отсылаемому к примечаниям.

Все это для того, чтобы русский читатель, которому адресовано данное издание, мог по возможности точнее воспринять духовный мир и жизнь старинного города.

При переводе пришлось, к сожалению, и опустить некоторые фрагменты, особенно те, где характеризуется городская речь: слова и фразеологизмы, бытующие среди горожан, — они имеют сугубо лексическое значение, да и непереводимы, пожалуй, как непереводимы отдельные фразы в силу особого колорита. И тут пришлось прибегнуть к художественному их пересказу.

Все это вкупе со стремлением подчеркнуть поэтическую сторону произведения потребовало определенных изменений композиции и, возможно, покажется *некоторой вольностью*, но несомненно одно: *все в тексте перевода доподлинно гришавилевское*.

Об этом хотелось уведомить читателя. Остальное — в самой «Литературной богеме старого Тбилиси» — небольшой странице грузинской истории.

Н. ТАРХНИШВИЛИ



## О ТБИЛИСИ

Среди развалин древней тифлисской крепости, на самом краю скалы, и поныне висится одинокая башня. Говорят, в кровавые дни нашествия Ага-Магомет-хана томилась в ней молодая грузинская княгиня.

Мужа ее в бою убили, грудного младенца в ров сбросили, а самое взяли в плен и привели к иранскому шаху.

— Я в этом добре не нуждаюсь, — злобно усмехнулся шах-скопец, оглядел свою свиту и спросил, — кто ее купит?

Пленила красота молодой грузинки персидского князя Джафара, за огромные деньги купил он ее и велел:

— Отрекись от Христа, и я возьму тебя в жены, иначе век свой в наложницах проходишь.

Тень пробежала по лицу княгини, опустила она голову, погрузилась в скорбное молчание, но Джафар настойчиво требовал ответа, с трудом она его умолила подождать до вечера.

Заперли пленницу в башне. Весь день провела она среди угрюмых каменных стен, все плакала и молилась, испрашивая у Господа прощения за грехи, под вечер призвала слуг князя, велела передать, что согласна стать его женой.

Рядом с башней уходил под землю небольшой каменный грот. Здесь, укрывшись от городского шума, жары и пыли, на роскошном ковре возлежал Джафар.

— Я раба твоя, господин, — приблизившись к нему, молвила пленница, — так предсказала мне судьба.

— Кто предсказал? — недоверчиво переспросил Джафар.

— Судьба, — повторила княгиня спокойно, — я наследовала от матери дар прорицания. Вся Грузия знает об этом.

Князь удивленно взглянул на пленницу.

— Дай мне руку, о мой повелитель, — прибавила она, — я хочу узнать, долго ли продлится мое счастье.

Джафар поднялся с ложа, приблизился к пленной, протянул руку.

— О, мой господин! — воскликнула она, как только взор ее упал на могучую руку Джафара. — Тебе суждено умереть от своего кинжала сегодня же ночью!

Перс побледнел.



— Но не бойся,— сказала она,— я спасу тебя от гибели, я заговорю врага твоего — острый кинжал. Дай его.

Князь колебался, он боялся дать кинжал в руки пленницы. Заметив это, она сказала:

— Не страшись, я ведь пока христианка и не могу убить.

Джафар, растерянный, вынул из ножен кинжал и протянул женщине. Она взяла его, возвела очи к небу и долго шептала молитву.

— Довольно,— сказала княгиня внезапно,— возьми свой кинжал, отныне он безопасен.

В голосе пленницы не было и тени волнения. Джафар стоял перед ней, не решаясь притронуться к оружию.

— Если не веришь, ударь по нему, и ты увидишь, что крепкая сталь отскочит даже от моей слабой плоти.

Джафар, как в дурмане, ударил сильной рукой по кинжалу, и он вонзился в сердце пленной княгини. Кровь забила фонтаном, княгиня упала.

Татарский князь от ужаса онемел, а когда опомнился, бросился к пленнице — она была мертва...

Эта легенда родилась в Тбилиси, но какая досада, милые мои тбилисцы — чужеземные ориенталисты рассказывают нам, детям древнего города, о его прошлых днях<sup>2</sup>. А мы сами — будто ничего и не помним. Ничего и не знаем!

Да что там говорить о прошлом, когда и сегодня тбилисцы плутают в Тбилиси. Я недавно прочитал стихи, опубликованные в журнале «Наш край *группой учителей*», так в них речь идет о каком-то «море с лебедями», а называется стихотворение «Утро в Тбилиси». Море, позвольте напомнить, за тридевять земель от нас. Оба моря, и Черное и Каспийское. Есть еще моря, но дальше... По какой-то иронии судьбы мы от чужеземцев узнаем о шумных пестрых базарах, празднествах, пирах неукротимых, «раздольных как море», банях, где вода «горяча без огня». Нашелся человек, записал предание, и чудный свет его воскресил жизнь, исполненную веселья, горя, отчаяния, надежд...

Не один путешественник ходил зачарованный по узким и кривым улицам, не один пытался постичь тайну жизни, что течет вопреки всем законам и правилам, и не раз «азиатский Тифлис» пробуждал вдохновение чужестранца.

И мое детское воображение влекли замшелые камни храмов и крепостей. Присутствие тайны во всем я ощущал физически. «Тут замурована легенда»,— говорила старинная кладка, и я мечтал освободить предание: воскресить древний город! То была заветная мечта. Она будила фантазию, которая все приемлет восторженно, и восторг души своей переливал я в стихи, тешась надеждой не сегодня — завтра написать историю родного Тбилиси, но прошло много лет, пока я отважился на путешествие в город мечты.

Занимаясь изучением эпохи и творчества Саят-Нова<sup>3</sup>, я вдруг обнаружил, что через восемнадцатый век увидел нечто замечательное в де-

вятнадцатом: в руках заблестало сокровище — *песни тбилисских поэтов*; открылся удивительный мир, повеяло духом, что вдохнули славные наши Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели. И почти никто не знал имен: Скандарнова, Гивишвили, Азира... Мало кто поднимался к истокам звонких и веселых речек, влившихся в море грузинской поэзии, хотя именно реки делают море!

Под народным творчеством, как правило, понимают вдохновение безымянных авторов и обычно собирают его нектар в деревнях, в «народе». Безусловно, истинно народна поэзия, что волно льется из сердца сына самой земли, но и в городе есть она, и она требует пристального к себе внимания, требует изучения. Литература — не только классика. Литература не исчерпывается печатным словом. Очерти ее берега — попробуй!

Порой я задумывался — а нужен ли мой рассказ кому-либо? Мысль эта неотступно меня преследовала, пока на глаза не попались газетные строки:

«Старый Тбилиси меняет свое лицо, но о его богатом историческом прошлом, его исключительном месте среди других грузинских городов нельзя не знать. Именно поэтому Музей Тбилисского городского совета в ближайшее время организует выставку «Старый Тбилиси»...<sup>4</sup>

Представьте себе мой восторг: отозвалось мое слово! Лекции о «Литературной богеме старого Тбилиси» читал я по городам Грузии, пел песни — душа Тбилисца была в них. Кому, как не мне, меджуну диковинного города, стать хранителем его музея?

И вот я — исследователь, я перебираю изъеденные временем пожелтевшие страницы рукописей и книг, блуждаю по городским кварталам, вожусь с букинистами, хожу из духана в духан, отчаянно заискиваю перед каждым, кто может рассказать хоть самую малость о Тбилиси и тбилисцах. Я гонюсь за экзотикой, чту ее, ныне отвергнутую — не она ли вдохновляла поэтов, не она ли придала их творениям свой блеск, свою живость?

Каждый поэт — дитя своего времени, каждый — дитя своего круга. Каким же он был, этот круг, что вскормил не одно поколение удивительных городских поэтов?

## СЕРДЦЕ ГРУЗИИ

Со склонов Кавказского хребта, по левую руку от горы Святого Давида<sup>5</sup>, косо опускаются вниз развалины древней крепости и обрываются вдруг. Дальше одни серые камни, жесткие кусты и высушенная солнцем трава. Но продлите крепостные стены мысленным взором — они подступят к самой реке, к маленькому мосту. Эта крепость и есть Нарикала, а за мостом — другая часть города. Нарикала — название не древнее. Верно, дано оно в честь какого-нибудь иранского правителя или вельможи, одного из последних разорителей города<sup>6</sup>.

Крепость звалась раньше Кала, о том говорит и Вахушти Батонишви-

ли<sup>7</sup>. Тбилиси, по его описанию, состоял из трех городов — Тбилиси, Кала и Исни.

«Река Кура отделяет Кала от Тбилиси и Исни: Калу омывает она с северо-востока, Тбилиси — с севера, а Исни же — с Запада и Юга. Тбилиси от Калы отделяет Сололаки-река, которая течет с Цавкисских и Коджорских гор...

Вначале (местность эта) была не городом, но поселением. Во времена царя Вараз-Бакура построена была здесь крепость Шурис-Цихе<sup>8</sup>... Затем Горгасал<sup>9</sup> заложил основу города, царь Дачи превратил его в город<sup>10</sup> первопрестольный; после Мурвана-Кру<sup>11</sup> его разорили хазары<sup>12</sup>, по опустошении же и разорении Мцхета он сделался престольным градом Багратидов<sup>13</sup>.

В Тбилиси из скалы течет горячая вода, благодаря коей выстроено там шесть бань просторных с бассейнами... Здесь, на горе Табор, была крепость, ныне остались одни развалины. Шах Сефи поселил туда сеидов<sup>14</sup>, потому персы называют ее Сеидабадом. Были здесь церкви великие, ныне они разрушены.

В Кала есть крепость, которую нынче именуют Нарикала, выстроенная на высокой горе, спускающаяся от Сололакского оврага до Куры. Начало Сололакского оврага называют Гянджинскими воротами<sup>15</sup>. В крепости есть церковь с куполом во имя святого Николая и царский дворец с палатами просторными и прекрасными... Есть в Кала церковь великая, прекрасная, Сионом называемая, во имя Богородицы...<sup>16</sup>, где пребывает католикос<sup>17</sup>. Есть Анчисхати<sup>18</sup>, большая, патриаршая...

В Исни на вершине скалы — церковь Метехи<sup>19</sup>, и та во имя Богородицы, с куполом прекрасной постройки... Здесь перекинут мост из Калы в Исни — от крепости к крепости. Южнее моста — могила святого Або<sup>20</sup>, который принял смерть за веру. В Кале есть церковь Римская и монахи-католики<sup>21</sup>. Место за крепостной стеной, где ристалище, называют ныне Гаретубани (пригородом).

Ныне все четыре града образуют Тбилиси и различают: Тбилис-Кала, Тбилиси-Сеидабад, Исни-Авлабар и Гаретубани. В крепости и Сеидабаде персы-магометане поселены, вне крепости больше армяне, меньше грузины, однако нравы и обычаи у всех грузинские.

...Дома в городе с плоскими крышами. Построены они из камня на глине и оштукатурены известью. Цитадель, церкви и городские стены из камня и на извести. Климат прекрасный и приятный, народ красивый и мирный, женщины миловидны весьма. Вокруг города много садов и цветников, множество прекрасных мест для охоты на дичь<sup>22</sup>».

## ГОРОДСКОЙ ЯЗЫК

«Нравы и обычаи у всех грузинские» — я намеренно повторяю эти слова Вахушти Батонишвили. Не вчера породилось разноплеменное тбилисское

население, душа у города единою стала, и говорил он на едином своем городском языке. Непривычному слуху речь города показалась бы дикой, неким сплавом персидско-турецко-арабско-армянско-грузинских слов, но в конце концов нельзя было не согласиться: речь эта звучала истинно по-грузински. Многие века кропотливо и осторожно оттачивал Тбилиси слова-алмазы чужого языка, сообщал им свою свежесть и солнечность. И они поддались, вписались в грузинскую речь. Так возник удивительно живой и красочный «городской язык». Иностранные слова изменялись порой до неузнаваемости, а порой сохраняли изначальное звучание и смысл. Что за беда: разве принижают арабизмы нашу великую древнюю словесность? Богател тбилисский грузинский язык. И не только он один. Ученый-арменолог Леон Меликсетбек отмечал, что под влиянием грузинского тбилисский диалект армянского языка создал особые фонетические нормы<sup>23</sup>.

Литератор и общественный деятель Петрэ Мирианашвили писал: «Грузины и армяне в Тбилиси говорят на замечательном наречии — из недр его истинный любитель словесности, добросовестный старатель извлечет множество бесценных жемчужин. И такой старатель нужен. Крайне важно, чтобы в грузинской литературе утвердился гибкий и ладный говор тбилисский — наш город достоин этой чести»<sup>24</sup>.

Я и стал одним из таких старателей, пустился на поиски благородных тбилисских слов, лелеял их, как рассаду нежнейшего цветка, и сажал там, где не было равнозначного слова...

«Городской язык» — на нем говорили наши деды, — по сей день не утратил он своей привлекательности; более того, некоторые грузинские слова — коренные уроженцы Тбилиси и только здесь они сохраняют свой первоначальный смысл. «Вывозить» их не надо: на чужбине они будут чужеродными, а здесь они — природа. Пестрота тбилисской речи не должна пугать. Она не от безвкусицы — она от богатства.

Боюсь, мой читатель, могу тебе наскутить своими восторгами, но запасись терпением и следуй за мной. Приведу я тебя сперва к Гянджинским воротам — главным воротам города. Вели сюда караванные дороги из разных краев и областей. Из Шоргалы, Марнеули, Дарнаки привозили купцы муку и зерно; из Караяз и Адаши — рис и арбузы; из Шхлои, Карабаха и Ламбалу — сыр, шерсть, сливочное и топленое масло; из Хамамлы, Кульфы, Агзевана и Борчало — яйца, соль, овощи; из Закатал — груши; из Душети пригоняли овец...

Мерно ступают верблюды, малиновым чистым звоном звенят колокольцы на уздечках, пронзительно кричат погонщики, скрипят арбы, перекрытые мохнатыми коврами, мычат буйволы. Шумно и тесно у Гянджинских ворот.

И чего только нет в огромных тюках: кожа, парча и атлас, кашемировые шали, шелка, пряности — богатства земли грузинской, армянской, персидской, турецкой, индийской. В караван-сараях<sup>25</sup> дорожают постой и ночлег.

Рано замирает жизнь узких улиц. В домах, налепленных друг на друга, зажигаются огни светильников, причудливые тени резных балконов ложатся на мостовую...

Спозаранку пушечный выстрел сзывал горожан на площадь Майдан.

Вела к нему улица среди приземистых одноэтажных лавок. В лавках торговали фруктами и прочими съестными припасами. Здесь же были мастерские скорняков, золотых и серебряных дел мастеров, духаны, кофейни, чайные и цирюльни, винные погреба с огромными бурдюками из буйволиной кожи, кузни. Среди базарной толчеи мальчишки затевали борьбу, кулачный бой, игры. Да и взрослые вели себя отнюдь не степенно. Но об этом потом.

Вот на середину тротуара кто-то выставил жаровню с шашлыком на горящих углях. А вот и всю улицу загромождали ящики и тюки.

А на Майдане, посередине рынка, на полосатом столбе развешается знамя. Рядом, у капани — огромных весов толпится народ. Взвешивают на капани мешки с солью, тюки хлопка и шерсти. Народу видимо-невидимо. Площадь тесная, с пятачок, сжата со всех сторон кривыми и косыми карточными домиками и фантастическими постройками, висящими в небе. Между грудами овощей, фруктов, среди лавок с роскошными персидскими коврами бродят горцы, увешанные оружием; букинист с кипой книг, туго перетянутых ремнем, вглядывается в толпу... Турки и арабы молча сидят за прилавками, дымят кальяном, перебирают янтарные четки. Над раскаленными пекарнями вьется сизый дымок. Пахнет горячим хлебом, пряностями и еще чем-то острым, квашеным.

На Майдане представлен весь город: персиянин с воловьими глазами, в рыжеватой бараньей шапке, с красной от хны бородой и крашеными ногтями, в широком атласном кафтане. Армянин в чохе<sup>26</sup> и московском картузе, угрюмый лезгин и грузин в шапке, лихо заломленной набекрень.

То и дело останавливаясь, площадь переходит вброд знаменитый «корабль пустыни». Поводырь — персиянин или турок — тянет его за веревку с кольцом, продетым через ноздри; протащится мерин тулухчи-водоюза. Наполненные водой меха судорожно вздрагивают на боках мерина, обдают прохожих брызгами. А вот и таскальщик, на спине его подушка, набитая войлоком. Если на голове — колпак, похожий на опрокинутую чашу, то это пришелец из Армении; если четырехугольный кусок сукна с тесьмой, завязанной на подбородке, — это грузин — ему нипочем взгромоздить на себя целый комод или буйволиный бурдюк с вином. Порой промелькнет на фаэтоне европеец. «Хабарда! — орет извозчик. — Посторонись!» Лошадь опасливо косится, подгибает задние ноги, фыркает. А за нею виднеются двухколесные повозки — арбы, запряженные волами...

Ровно в двенадцать часов вновь раздавался пушечный выстрел. Знамя опускалось. Теперь товары могли покупать лавочники, разносчики, перекупщики. Народ однако медлил расхотиться. Присаживались на лавки, делились городскими новостями, толковали о ценах, о предстоящих праздниках, свадьбах и поминках, словом, о чем угодно.

И среди этого пестрого люда нам пора заметить карачохели и кинто. Без них не представить тбилисских улиц, Майдана, народных игр и развлечений, без них нет старого города.



## КАРАЧОХЕЛИ И КИНТО

Карачохели и кинто — люди разные. Кинто — ожиревший бездельник, мошенник беспардонный, мелкий воришка. Карачохели — рыцарь без страха и упрека.

Характер человека кладет печать и на одежду его, и на внешность. Карачохели, что означает «одетый в черную чоху», — рослый, плечистый, сильный мужчина, непременно с бородой, подстриженной наискосок, с выбритыми, но невыскобленными, словно невыделанная кожа для лаптей, щеками; темные глаза его спрятаны в тени бровей, усы закручены на концах, волосы почти до плеч свиты у виска. Его не увидеть неопрятным и неяршливо одетым, а одет он и зимой и летом одинаково: просторные брюки с алым кушаком в складках, серебряный пояс с серебряными же бляхами с кулак величиной, покрытыми чернью и сканью, разрисованные тончайшим орнаментом; атласный архалук, закинутый за плечи шелковый платок и черная шерстяная чоха (непременно узкая в плечах и без пуговиц, чтобы виднелась бахрома архалучного пояса). Прибавьте к сему узловатые пальцы в золотых перстнях, десятивершковые, в складку, сапоги, и барашковую шапку «перцем», и вот вам его портрет. Чисто внешний, понятно. Ну, а что дальше? Есть одна книжка: «Приключения Иэсэ Осэшвили», и в ней такие строки: «...И гривны ни у кого не брал. Да не пойдет мне впрок силой мною у кого-нибудь отобранное... Был я беден, но не сгинул, не пропал. Не воровал, не отнимал, но трудился и жил...» Иэсэ — горожанин. Он, как и все люди его сословия, не любит попрошайничать. Легко перебивается тем, что у него есть. Карман его пуст, но несметные богатства таятся в душе. У него какая-то особая жилка, называйте ее, как угодно: талантом, интуицией, ловкостью, способностью... Я знаком с одним, песочником Симоном Джавахишвили, который даже азбуку создал собственную. Что-то вроде иероглифов. Никто, понятно, не сумеет разобрать его записей о приходе-расходе, адресов клиентов, кому сколько ароб строительного песку требуется... И живет себе «без ученья и без хлопот». Недаром говорят — была бы голова — шапка найдется.

Тбилисец не ведает страха. Никаких: «а вдруг...». Его мозг не перегружен философией, но и то правда, что его мышление вечно молодо, здорово, незатуманенно и собранно. Он шесть дней в неделю трудится в поте лица своего, чтобы все прокутить в день седьмой, ибо «мир дешевле соломы, а жизнь не стоит долгов, и все золото мира не стоит одной красавицы».

Люди посolidней — духаншики, торговцы, — день седьмой, как правило, дарили господа. Они надевали просторные коричневые шаровары, архалук и чоху с подвернутыми рукавами, сапоги с голенищем, повязанным сиреневой кожаной тесьмой; подпоясывали платье из черного сукна кожаным ремнем с бахромой и шли в церковь на проповедь:

«...Мы пришли грехами обремененные в дом твой, господи, искупить их и почтить храм святой!»

И церемония купли-продажи выглядела у них в этот день особо. В полумраке просторной комнаты с узкими окнами горят свечи. Па-



хнет ладаном и прохладой. Дух благостного изобилия царит в ней. Дух благостного изобилия — это мерцание свечей, полумрак и запах ладана и разговор вполголоса с покупателем:

— Да разве я тебя обману, — таинственно говорит лавочник и протягивает руку в сторону свечей. Причудливые тени пляшут на стенах, — да померкнет в глазах моих свет божий... По своей цене отдаю, тебя уважаю...

А теперь вообразите себе, что его клиент — карачохели. Торговаться не в его правилах. Он раб совести. Он приходит в ярость, когда замечает в людях пройдошливость, он, наконец, верит людям.

— Ишь, разукрасил, точно елку, — скажете вы, — что это за люди? Какого роду-племени и почему, собственно, они такие особенные?!

В общем-то ничего особенного. Тбилисцы. Тбилисец — ремесленник он или ашуг, бакалейщик или кузнец — не принадлежит к какому-нибудь племени: мать у него армянка, отец — грузин, или наоборот. Предки иных — выходцы из Аравии, иных — из Ирана и Иерусалима. Одни — христиане, другие — мусульмане, иудеи и прочее. Одним словом, карачохели — это Тбилисец, в котором перемешалась кровь народов, многих и многих, и, если ты станешь его убеждать в какой-либо национальной, расовой или религиозной принадлежности, — он недоуменно пожмет плечами, и только. Он — Тбилисец. *Однако не следует забывать, что в большинстве тбилисцы грузины своим языком, духом, сердцем, традициями!* Их мозг не скован школярством, их тело не стеснено одеждой, похожей на географическую карту. Они пьют воздух, пропитанный ржавыми лучами солнца.

Если ты, мой ровесник и друг, испытываешь неизъяснимое удовольствие, подстерегая в лесу фазанов и ланей, — тбилисец охотится в самой реке Куре. Если ты, вооруженный до зубов, пугаешься шороха — тбилисцу слово страх неведомо вообще. Он размашисто закидывает в воду тяжелую сеть, а понадобится — прыгнет сам: купание в ледяной воде всего лишь закалка. Не раз приходилось окунуться в эту самую воду. И далеко не ради одного удовольствия. 6 января 1892 года, к примеру, когда проломился один из мостов через Куру, более трехсот человек упали в реку. Бог весть сколько бы жизней погибло, не окажись на месте рыбаков — карачохели. Удивительные, право, люди были. Жизнь, казалось, была для них чем-то, от чего надо избавиться. Но попробуй избавиться, когда она сидит в тебе. А тут в придачу, как повинность, постоянные игры и состязания в мяч, джигитовка, лахти<sup>27</sup>. Теми же упражнениями занимались в лагерях солдаты войска Ираклия II<sup>28</sup>. Старший сын царя, Леван, набрал по велению отца свиту из двух тысяч юношей, своих ровесников. Свита, по существу, была регулярным войском, прекрасно вооруженным, с отборными конями; серебряные доспехи ослепительно блестели на солнце. Это был блеск непобедимого отряда тбилисцев, испытанных не в одном сражении.

Ну, о карачохели пока — достаточно; а что же кинто?

Кинто — «носящий тяжести на вые» — в старину слово «квинти» означало еще и домового — одет в ситцевую, в белый горошек, рубаху с высоким, никогда почти не застегнутым, воротником. Просторные сатиновые шаровары заправлены в носки. Он обут в сапоги «гармошкой», носит картуз, длин-



ная цепочка от часов свисает из его нагрудного кармана. Подпоясан кинто узким наборным ремешком. Чоху он вовсе не носит.

Осанка карачохели горделива, кинто — расхлябан. Карачохели, поэт, он творит, кинто издевается над его творчеством.

Карачохели поет:

Птица радости моей улетела  
От презренных мелочей житейских...

У кинто иной припев:

Чи-ки, чи-ки, файтончики.

Любовь вдохновляет карачохели:

Ты арзрумская зарница, Гульнара,  
Ты взошедшее светило, Гульнара...

Кинто глумится даже над своей женой:

А жена моя, Анет,—  
Ночью душка, утром нет...

Карачохели наслаждается напевом дудуки. Кинто — шарманщик. Карачохели пел:

Облака за облаками по небу плывут,  
Весть от девушки любимой мне они несут...

Или

Ах, луна, луна, надежда пылающих любовью...

Кинто ради пушего веселья переводил его стихи на русский, с позволения сказать, язык:

Кусок, кусок облак идет с висок небеса,  
Запечатан писмо несет от лубовниса...  
Ах, луна, луна, жареных надежда.

Голос карачохели проникновенный; голос кинто хриплый, надтреснутый.

Карачохели пил вино из глазурированной глиняной чаши, азарпешы, — серебряного сосуда с длинной серебряной ручкой, кулы — деревянной чаши, обитой серебром. Кинто и названий таких не знал, а когда хотел щегольнуть, пил вино из женской туфельки.

И кинто и карачохели торгуют, но торгуют они по-разному.

Стоит за прилавком эдакий красавец, и товар у него отличный. Торговаться он не любит. Уступает быстро, словно махнул рукой: «Э, да бог с ним!». Вот подошла к нему пожилая женщина с миловидной девицей.

- Сколько стоит, сынок, твой товар? — спрашивает она.  
— Восемь абазов<sup>29</sup>, мать, — степенно отвечает карачохели.  
— За шесть не отдашь, сынок?  
— Эта девушка — твоя дочь, мать?  
— Моя, сынок.  
— Бери, мать, товар — за шесть абазов.

Остроты кинто истасканы и всегда двусмысленны. Лучше их не приводить, а впрочем, вот подслушанный мной разговор на том же рынке:

- У тебя есть отец, лягушонок?  
— Ага.  
— Молодец, можешь взять яблоко. А мать?  
— Ага.  
— Молодец, бери грушу. А теперь скажи, маленький, сестренка у тебя есть?  
— Ага.  
— Во здорово, бери фрукты, сколько хочешь, бери. Мальчик с готовностью потянулся к фруктам.  
— Постой, а она не замужем ли?  
— Ага.

Кинто недовольно:

- А ну-ка, бросай фрукты, ишь размахался. Сестру твою... Слово карачохели — искреннее, твердое: сказано — сделано. В старину был обычай — выдергивать из усов волосок и толочь на камне в знак вечного братства.

У кинто — своя мудрость.

«Если иметь друга хорошо, — замечал он, — был бы друг и у бога!» Человеку в черной чохе надоели духаны и базарная толчея. Он хочет жить иначе. Тень грусти часто скользит по его лицу и, чтобы ее одолеть, он пишет стихи и придумывает разные игры и развлечения. Он творец; он творит и обычаи. Кинто — плюет на них. Его развлечения — игра в кости и сквернословие; он смеется над любовью, воспетой Руставели.

И все же, как ни странно, кинто — вышел из карачохели! Кинто — выродившийся человек в черной чохе.

Карачохели житель того города, который, по «Картлис цховреба»<sup>30</sup>, стойко защищался от врагов, и дух его был непреклонен и тверд.

Кинто, словно черт из преисподни, явился из недр разноплеменного черного рынка, в пору, когда материальная потребность опередила производство и мошенникам стало вольготно. И детей своих научил он «вином торговать да водою вино разбавлять».

Все течет, все меняется. Менялись люди, преображался старый Тбилиси. Неписанные законы его потеснились перед циркулярами наместников. Те-то знали, «как долженствует перестроить город и по каким законам жить должно». Но и потомки карачохели свое знали. И в наши дни, хотя не встретишь человека в черной чохе, дух его жив: только приглядишься к людям, пойми, кто чем живет.

Я встретил «живого карачохели», хотя из города исчез даже кинто и вымирало «третье колено» торговцев мелким товаром — нестроумных, скучных людей. Их клиентуру по преимуществу составляли женщины, и они своими манерами сильно на них смахивали. Называли их «шкапчи-ками».

Я встретил Бечара — будто проснулся в прошлом столетии.

— Ты куда запропастился, юноша, — он вприщур на меня посмотрел, — или волосы хной выкрасил, боишься на улицу нос высунуть? Ну, да ладно... за песнями пришел, значит. Давай, записывай.

Маленький, щуплый, морщинистый старичок с торчащими, желтыми от табачного дыма усами, закачался из стороны в сторону сперва быстро, потом медленней и, словно уловив нужный ритм и приноровившись к нему, запел, и морщины одна за другой стали сходить с его лица.

Это была песня, обращенная к архангелу Гавриилу<sup>31</sup>. Тщедушный певец вызывал на единоборство «крылатого волка», упрекал его в том, что тот хватает праведников и милует грешников. Была какая-то невнятица в смысле, — она разъяснилась потом — но тон был убежденный, запальчивый. Покачиваясь из стороны в сторону, взад и вперед, Бечара петушком на-скакивал на противника и только в последних словах, будто опомнившись, просил небожителя продлить ему грешные дни.

Он пропел эти стихи и вопросительно на меня уставился, как бы приглашая их оценить.

— Хорошая песня, — сказал я.

— То-то же, — ухмыльнулся Бечара, — то-то же, юноша.

Он задумался на мгновенье и прибавил:

— А знаешь, почему она хороша? Не боюсь я Гавриила — вот почему. Хочешь, еще одно стихотворение тебе спою?

— Конечно.

— Что ж, записывай на здоровье, — он вновь закачался, как в первый раз.

Я сказал своей возлюбленной, ты — розовая лань...  
Удивилась: что за бредни! Я сказал: ковер узорный  
Вытку для тебя единой, о моя степная лань...  
Полоумный! — возмутилась. — Убирайся, беспризорный!

Но возлюбленной сказал я: мне не жалко — жизнь отдам!  
Отвернулась, рассмеялась: на другого променяла...  
Без тебя я опустею, как без бога божий храм!  
Пустомеля! — отвечает. — Повзрослей-ка для начала.

Но спросил я у жестокой: как беде моей помочь?  
Ждал ответа губ капризных, еле сдерживая стоны.  
Умираю, умираю, божий день черней, чем ночь!  
О несчастный, — все смеется, — о безумный, о влюбленный!

Голос Бечары дрогнул, слезы выступили на его молодых глазах.

— Не боюсь я Гавриила, — повторил он неожиданно. — Не боюсь, и все тут!

15-694  
3

საქართველოს  
პარლამენტის  
ინფორმაციის  
სისტემის  
სერვის ცენტრი

Потом он описал мне Гавриила, отнюдь не «крылатого волка», но пышущего здоровьем, краснощекого толстяка с отвислыми усами. Откуда Бечара его знает? Как, то есть, откуда? Что за вопрос?! Да у него, не сойти ему с этого места, чуть не столетняя дружба с Гавриилом, и не раз в каванах они водили беседы о бренности всего земного!

— Как причудлива фантазия,— подумал я,— какое сходство между архангелом и своим другом-спорщиком усмотрел этот милый старик?

Бечара закурил большую, обитую серебром трубку и, шурясь, посмотрел на солнце. На нем был сословный его архалук и широченные шаровары, подпоясанные наборным ремнем...

Его основным занятием была торговля, причем он называл себя сезонным торговцем — зимой продавал рыбу, летом — зелень. Грамоте Бечара не обучался, даже цифр не знал и все торговые операции завершал с помощью крестиков («факсимиле Бечара»). Эти свои крестики он отличал среди тысячи подобных знаков, начертанных не его рукой. Стихов своих он, понятно, не записывал, не издавал, а было их у него великое множество. Их распевали по городу, не зная имени автора, но автора это не печалило. Он часами мог сидеть, покачиваясь из стороны в сторону, — стихи напевал. Одно стихотворение за другим.

Бечара продиктовал мне свою автобиографию:

«Зовут меня Василий Аветович Бериев. В день вознесения господня мне исполняется семьдесят пять лет. Родом мы, Бериашвили, из села Свенети, Горийского уезда, Тифлисской губернии, но еще мой прадед переехал в город. Здесь я и родился. С восемнадцати лет начал ходить в кавану; любил слушать ашугов, беседовать с ними. После открыл и собственное свое заведение. В день Благословения ашугов благословили и меня и нарекли именем Бечара, что значит «Обойденный судьбой». Только я не знаю, насколько это верно, живу, как видишь, не тужу, торгую и стихи пишу. Я для верности на четках слоги считаю. Четки я люблю, песни люблю, чубук люблю...»

Бечара продиктовал мне свою автобиографию и по обыкновению задумался, но, заметив, что я собираюсь уходить, встрепенулся, попрिдержал меня за руку...

— Послушай еще:

Ты обделал все толково:  
Слово дал — нарушил слово,  
Бросил умирать больного,  
Отнял дом... Но зло не вечно!

Как пастух, нас гонит время  
И равняет всех со всеми.  
И недолог, злое семя,  
Веки мой и твой, конечно.

Бечара, их много — сытых,  
Толстопузых, именитых —  
Смерть придет — не пощадит их —  
Как, бедняг, их жаль сердечно!..

Он любил песню, чубук и четки...

## КАЭНОБА

«Тифлис очень цивилизованный город, очень подражающий Петербургу, и это ему хорошо удастся. Общество избранное и довольно многочисленное. Есть русский театр и итальянская опера...» — писал Лев Николаевич Толстой в письме Т. А. Ергольской в 1851 году<sup>32</sup>.

Тифлис и в самом деле становится европейским городом, однако далеко не бурно и не сразу. До 1845 года облик его почти не менялся. Разве что за пределами городской стены начинали возникать новые дома: дворец наместника, гимназия, арсенал, штаб, госпиталь... Затем открылся русский театр, разбиты были сады с эстрадами, лотерейными клубами, выстроены доходные дома, и так далее, и тому подобное. Была в этой метаморфозе своя хорошая сторона, была и плохая, и она болью отзывалась в сердцах грузин.

«Не тянет меня в Тбилиси, не тянет, — сетовал Илья Чавчавадзе в письме к другу, — не лежит у меня сердце к родному городу, изменился он, будто все тбилисцы снялись с насиженных мест и ушли, и явились вместо них пришельцы невесть с каких краев...»<sup>33</sup>

В 1884 году в Тбилиси приехал венгерский художник Михай Зичи<sup>34</sup>. Он писал тогда картину «Демон» по мотивам лермонтовской поэмы, и ему нужны были грузинские национальные костюмы. После долгих поисков их удалось раздобыть по чистой случайности. Григол Орбелиани<sup>35</sup> с горечью сообщил об этом одному из своих друзей. «Слишком уж извратилась, «просветилась» Грузия, ничего своего не хотят, одеваться по-грузински, и то стыдятся. Грустно, князь Николай, видеть все это...»<sup>36</sup>

Однако старый Тбилиси еще жил. Свидетельство тому — народные празднества, которыми славен был город еще до «начала цивилизации».

Я хочу рассказать о Казноба, грандиозном представлении, вроде европейских карнавалов и маскарардов, но куда более массовом и отличном от них и по сути, и по ходу своему, и по завершению.

Казноба — торжество хана — зародилось давным-давно. Одни утверждают — в пору язычества, другие говорят — после вторжения Мурвана Кру. Как бы то ни было, игры Казноба издревле ведутся в Тбилиси.

Журнал «Квали» описывает их в годы наместничества Ермолова<sup>37</sup>, когда только-только застраивался городской квартал Сололаки и вокруг канцелярии главноуправляющего краем появились и первые дома и улицы наподобие европейских.

«...Масленица подходила к концу. Авлабар, Чугурети, Нарикала готовились к играм. До поздней ночи в мастерских Сейдабада шили наряды и маски; в кузницах ковали украшения хана и его свиты, столяры вытачивали деревянные мечи, кинжалы, рогатки. В Сирачхана, к винным рядам, поднимались арбы, нагруженные огромными бурдюками из буйволиной кожи — торговцы перед праздником запасались вином.

Город разделился на два лагеря — лагерь «завоевателей» и лагерь «грузин»; Исани против Нарикала.



К нарикальцам присоединились жители Веры и Сололаки. Авлабар же, Чугурети и Кукия составляли Исани. Праздник начался с выступления Каэна (хана), его свиты и войска.

Протяжно завывла зурна<sup>38</sup>, запели дудуки, ударили в бубны, литавры. Закрылись дома и лавки, затих Майдан. Город притаился.

...Скрип повозок и арб, топот лошадей и выкрики ханской свиты врезались в тишину. Войска Каэна вошли в ворота Исани и к утру заняли весь город. На перекрестках дорог появились отряды мытарей.

С ночи готовились к схватке и нарикальцы, но вынуждены были отступить перед тысячной вражьей силой. Войска укрылись в Сололакском овраге.

Ханский стан веселился, шумел, гоготал. И, как это бывало в действительности в суровую пору народных испытаний, к трону Каэна, на Сеидабадский холм, шли с повинной малодушные, спешили на поклон новой власти. Того, кто не пожелал сдаться на милость победителя, хватили на дорогах, волокли связанными к трону, тройную дань заставляли платить...

В полдень в ханский стан ворвался гонец с вестью о приближении грузинского войска и измене вассалов.

Хан приказал трубить сбор. Закипела схватка...

Повсюду слышны боевые песни, смех, веселые выкрики, стук деревянных мечей. Кто-то, самый находчивый и храбрый, врывается в шатер хана и берет его в плен. «Грузины» торжествуют победоу...»<sup>39</sup>.

Каэноба — рассказ о многовековой борьбе грузинского народа за независимость. Это символический праздник — торжество патриотического духа, и не случайно во главе игр всегда стояли выдающиеся грузинские общественные деятели, писатели и поэты. Одно из самых больших представлений было организовано на средства и по плану Григола Орбелиани в бытность его наместником царя на Кавказе.

Знаменательно, что царское правительство запретило изображать на празднике войну. С таким же успехом можно было запретить вино на пиршествах. Смысл Каэноба, его идея, осталась и, я бы сказал, сделалась более яркой.

...Каэна выбирали старейшины в каждом районе. Иногда он изображал очередного наместника, жандарма или спившегося офицера. И в Чистый понедельник каэн выходил в город, восседая на верблюде или осле лицом к хвосту. Одет он был в вывернутый кожух, подпоясан крученой соломенной веревкой; на голове шутовской колпак, лицо вымазано сажей. В одной руке каэн держал шумовку, в другой — ржавый вертел с насаженным на острие яблоком. За ним следовала свита и мытари, и каждому встречному волея-неволей приходилось раскошелиться. Каэн заносил в толстенную книгу имена плательщиков. Затем, как правило, в полдень, хан «попадал в плен» и его швыряли в реку, где помельче. Там он успевал смыть сажу с лица и обретал прежний свой облик — тбилисца.

А потом с берегов Куры и Ортачальских садов доносились песни людей, празднующих освобождение — то было завершением игр Каэноба, праздника истинно народного. В нем сквозит мужественный и веселый

характер людей, умеющих посмеяться над превратностями судьбы, стремящихся вынести праздник на улицу. И я уверен, именно поэтому наш народ тысячу раз возводил разрушенные стены стального своего города и тысячи раз, подобно сказочной птице, восставал он из пепла.

Я думаю об этом, и уж судите сами: хорошо ли, плохо ли, что народные игры и празднества позабыты, что все чаще праздники сводят нас в тесной комнате, и мы не выходим из семейного круга.

## КРИВИ

И еще об одном развлечении я расскажу: о кулачных боях. Тбилисцу нравится бой — сходятся ли соперники на глазах у равнодушной красавицы, выпускают ли в круг бойцовых петухов или баранов — эркемали. Издревле проводились у нас верблюжьи бои, с той поры, как привозили на верблюдах нефть, с двенадцатого, должно быть, века. Забавное, верно, было зрелище — две неуклюжие громадины размахивают шеями, стараясь посильней шлепнуть друг друга. Что ж, делу — время, потехе — час. Развлечений было предостаточно, взять хотя бы бой баранов. Бойцового барана загодя брали из отары, холили, кормили хлебом, каменной соли не жалели; натаскивали, учили драться, а чтобы зря не бодался и позлее был — держали на привязи, на цепи. Как наступала пора готовиться к боям, красили ему челку мореной в алый цвет, подпиливали загнутые рога (от этого, говорят, в рогах появляется сильный зуд, и баран рвется в бой), надевали ошейник, украшенный разноцветными камешками, опаивали жидким ячменем и везли на дрожках до арены.

На арене владельцы драчунов, оговорив условия, сводили их. Не обходилось, ясно, и без нарушения правил; бывало один из хозяев, снимая со своего питомца цепь, бил ею по морде чужого. Дело принимало крутой оборот. Нередко и за ножи хватались, но в большинстве случаев исход бывал тбилисский, а тбилисский исход это дружеский пир в городских садах, когда поются песни и в пиалах искрится вино; люди клянутся друг другу в любви, и клятвы эти искренни.

Но все это пустяки перед криви.

В криви, как и в английском боксе, участвовали два бойца, но в отличие от него, сближаясь, они ударяли друг друга поочередно. Если же какой-либо из противников оказывался настолько слабым, что с первого же удара бывал оглушен, то получал удар с другой стороны (для равновесия), потом противник хватал его обеими руками, встряхивал, ставил прямо, и бой начинался сначала.

Порой карачохели, только бы покрасоваться, себя показать, противника и не трогал: заворачивал кулачище в подол чохи, отмахиваясь, отбивал удары; насмехался над противником, распаял его, но это скорей озорства ради. Доподлинный криви одной рукой был у нас чем-то



вроде европейской дуэли. Оскорбленный карачохели, вместо перчатки, вы брасывал вперед руку (чаще всего правую), а левую засовывал за пояс; я, мол, одной рукой, а ты двумя дерись. Называлась эта дуэль — х р и д о л и.

Перед началом боя заходили в духан, играли в кости. Завязтые игроки северной стороны Тбилиси против южан. Затем победители приглашали побежденных, и за чашей вина обсуждались условия предстоящей схватки. Вино подогревало страсти, каждый мнил себя победителем и рвался в бой. В это время и создавались, уже официально, блоки, выбирались палаваны (богатыри)! Очерчивался круг (скажем, ринг).

Говорят, у царя Ираклия были свои фавориты среди палаванов, и он с царичеко непременно жаловал на криви и следил за боем своих любимцев. А царские богатыри размахивали кулаками величиной с баранью голову, каждый удар в грудь противника эхом отдавался в горах.

Наслышался я историй. Еще помнят о схватках добряка Дарчуа, царствие ему небесное; Лекуа — лудильщика, великана из Харпухи: глянешь на него снизу вверх — шапка валится. О Танане и кузнеце Сиа легенды ходят. Таинственным ореолом окружены некий чугуретский парень в «белом архалуке» и «краснорубашечник» Кола. Рассказывали мне о «сокрушителе скал», что одним ударом кулака откалывал от скалы глыбу; о Соломоне, золотых дел мастере — он пальцами подковы сгибал и дрался, стоя на коленях; о лысом Степанэ — в драке его ударили кирпичом по голове, кирпич разломался, а Степанэ удивленно огляделся по сторонам, и только. А Лопиана, любимец Григола Орбелиани, наступая на своих противников, сгребал их в охапку и сталкивал куда-нибудь.

О многих я слышал, всех не упомянуть — каждое десятилетие являло своих богатырей.

Кулачный бой зародился не вчера и, разумеется, проводился по выработанным правилам, однако, хотя и редко, бойцы в силу обстоятельств, видимо, вспоминали о законах, которые на то, чтобы их нарушать. Кто-нибудь, почувяв неотвратимость поражения, бил головой в лицо противника или медным кольцом рассекал ему лоб. Таких строго осуждали товарищи, наказывали вплоть до лишения права участвовать в кулачных боях.

Если Казноба — рассказ о народной судьбе, историческое действие, то Криви — молодецкий бой, где торжествуют ловкость и красота, где побеждает сильнейший. Бывало дрожь проберет, когда в самый разгар боя, против кулачного леса, неожиданно выступал прославленный богатырь и, разбрасывая в разные стороны противников, очищал себе дорогу.

Кулачный бой развивал смелость, хладнокровие, силу: кулачный бой воспитывал рыцаря и воина. Добытые в бою орудие, бурки, ремни, плащи законно считались законным трофеем. Устраивался он, как правило, на окраине, в пустынном месте, среди холмов.

К месту будущей схватки с утра стекался народ. Праздничное оживление царило вокруг...

Под гул толпы первыми выбегали на арену мальчики, затем подростки, молодые парни.





Толпа подбадривала бойцов; заключались пари, росли ставки... Бывало, почтенные, не только по положению, но и по возрасту, старики — лет эдак шестьдесят, шестьдесят пять — не выдерживали и вступали в бой — отстаивали честь квартала. Честь эта, впрочем, поддерживалась и денежными пожертвованиями в пользу своих бойцов. Говорят, старожил Тбилиси князь Арчил Мухранский одаривал деньгами лучших бойцов даже противной стороны, именно называют татарина Куадзо и армянина Лодоша. Но были болельщики иного рода. Не в пример князю Арчилу один из жителей нижнего квартала не то, что одарил кого-нибудь, а собственную жену прогнал вон, потому как она имела несчастье родиться в доме своих родителей, то есть, в верхнем квартале; другой болельщик не отпускал жителям враждебного квартала товаров, и так далее.

Небольшие кулачные бои устраивались довольно часто, а такое, я бы сказал, грандиозное представление, как Салдасти, раз в год.

От Салдасти осталось одно воспоминание в буквальном смысле этого слова. Описание его сохранилось в мемуарах князя Давида Осиповича Бебутова: «На первых днях масленицы выбирали по одному шаху для двух враждебных партий, богато их одевали и сажали на трон, — рассказывает Д. О. Бебутов, — на видном всем зрителям месте. Богато убранные кони шахов стояли посередине улиц, тут же располагались отряды, носившие имя улицы, на которой они стояли. Отрядом командовал знаменитый боец... В понедельник, на первой неделе великого поста, назначалось между двумя шахами генеральное сражение. Поутру в прощенное воскресенье открывались переговоры между противниками. Каждый из шахов старался переманить на свою сторону целые отряды противника или отдельных бойцов...

В то же воскресенье, после полудня, оба шаха выезжали за город с особым церемониалом. Впереди несли знамена каждой улицы, за ними шли сановники шаха, сам шах верхом, и наконец его войска с запасом провизии и напитков. Во главе колонны шли музыканты, играя на бубнах, зурнах, литаврах и больших трубах; песенники пели военные песни, импровизаторы речитативом рассказывали народу о славных подвигах предков и, наконец, плясуны и скоморохи довершали картину шествия. Выйдя за город, каждый из шахов старался занять стратегические пункты, выгоднее для защиты или боя в следующий день. Расставив пикеты, установив разъезды и запасщики лазутчиками для получения сведений о намерениях неприятеля, обе стороны пировали весь остаток дня и всю ночь, встречая в поле первый рассвет великого поста. В понедельник, рано утром, толпы народа спешили за город и живописной вереницей поднимались по гребням холмов, окружающих город. Это было чарующее зрелище. Вид его придавал бойцам бодрости, каждый желал отличиться перед той, которая среди шумной и тесной толпы следила за ним...

К одиннадцати часам утра приехал главнокомандующий князь Павел Димитриевич Цицианов<sup>40</sup> со своими адъютантами и стал между зрителями...

Наконец зурна заиграла боевую песню.

...Начали бой мы, мальчики. Я выскочил вперед вместе с другими и стал

метать камни из пращи. За поясом у меня была деревянная сабля, плеча, для защиты от камней, свисала короткая бурка. Сближаясь с противником, мы хватались за сабли.

...У меня была рассечена губа, а мой противник ранен в голову, когда налетел мой отец, бывший в числе зрителей и, к великому моему огорчению, вытащил меня из драки. Отец хотел тотчас же отослать меня домой, но я упросил его и остался среди зрителей.

Между тем перестрелка и стычки продолжались без решительного перевеса с чьей-либо стороны. Тучи пыли скрывали бойцов. Камни падали у наших ног. В нескончаемом гуле, гоготе и выкриках отчетливо слышался свист пращей. Около часу пополудни вдруг среди неприятеля случился переполох, отряды начали двигаться в разных направлениях, а зрители, разместившиеся по гребню горы, переходили на противоположную сторону... Наши стали готовиться к общему нападению и заняли все приступы и тропинки, ведущие на вершину Сололакской горы. Причина тому была следующая: шах наш в полночь секретно отправил один отряд в обход Сололак, верст за шесть, в деревню Табахмелы. Отряду предписывалось выступить в понедельник к двенадцати часам, спуститься к Сололакской горе во фланг неприятеля, причем на горе со стороны Окрокан поставить лучших пращеметателей для обстреливания врага с тыла. Едва стали показываться передовые люди обходного отряда на фланге у неприятеля, младшие воины уступили место старшим. Пращники с обеих сторон вышли тысячами, осыпая друг друга камнями, словно градом, раненые отходили, а места их заступали люди все старше и старше. Рубились повсеместно, атакующих опрокидывали и сбрасывали с горы, товарищи их поддерживали и восстанавливали равновесие. Бой продолжался с переменным успехом около часу. Нижняя сторона успела, однако же, утвердиться на половине горы, укрываясь, по возможности, от летевших сверху камней. В это время обходная колонна подошла по гребню, и завязался бой на фланге. Верхняя сторона вынуждена была ослабить себя высылкою лучших своих бойцов против упомянутого отряда...

Бой был в полном разгаре, уже знаменитые бойцы приняли в нем участие и дрались на саблях. Метание камней из пращи прекращено, потому что, по правилу боя, когда начинается рубка между знаменитыми бойцами, употреблявший в дело пращу считался трусом. Верхняя сторона начала отступать, отряды нижней заняли гору, и неприятель бежал вниз по Сололакскому ущелью, преследуемый до самого дома главнокомандующего (он находился там же, где и поныне, однако в то время вовне черты города). Для воспрепятствования беглецам ворваться в город все городские ворота были запорты.

Главнокомандующему князю Цицианову доложили, что причиною неудачи был сам шах верхней стороны, оскорбивший знаменитого своего бойца Саато тем, что не дал ему требуемой части денег. Саато с сорока-пятьюдесятью человеками отборных бойцов решил не принимать участия в игре.

Главнокомандующий потребовал к себе Саато и на вопрос, может ли он

восстановить честь верхней части города, получил удовлетворительный ответ. Приняв от князя Цицианова кошелек с червонцами, Саато со своим отрядом бросился на противника. Преследуя врага по пятам, Саато почти уже добрался до вершины Сололака и думал сбросить противников в овраг... В эту минуту пращник попал ему в правый глаз... Саато упал. Завязалась ожесточенная свалка: одни хотели унести своего предводителя, другие не давали и бились упорно.

К месту побоища подъехал князь Цицианов. Он тотчас же разослал всю свою свиту и князей с приказанием прекратить битву и отыскать пращника, который вопреки законам Криви, дерзнул во время сабельной рубки вышибить камнем глаз Саато. Саато остался жив, но без правого глаза, вероломного же пращника не нашли. Этот день обошелся без убитых, ибо сражение происходило с соблюдением правил Криви, за исключением лишь единственного, только что упомянутого случая...<sup>41</sup>

Так-то, на сей раз, можно сказать, всё обошлось, а вот 4 февраля 1854 года в кулачном бою триста человек ранили и пятерых убили. Муниципалитет представил канцелярии наместника свои объяснения. Николай I на основании доклада графа М. С. Воронцова<sup>42</sup> запретил кулачные бои в городе и предписал полиции «осаждать разгорячившихся без меры».

Несколько лет тому назад на Крцанисском кладбище я набрел на могилу бойца, судя по эпитафии, убитого в Салдасти:

Камень в грудь меня ударил, солнца свет погас.  
Но друзей моих увидел я в последний час.  
Мать родная, не печалься, жизнь свою кляня,  
Удостойте, палаваны, памятью меня.

## АМКРОБА

Жил на Востоке царь, правитель могущественный и мудрый. Захотел он однажды объехать свои владения, посмотреть, что творится на белом свете. Собрался и отправился в путь.

Возле какого-то селения встретил он девушку неопишуемой красоты. Она до того ему понравилась, что он решил жениться.

Отец девушки был простой ремесленник, но это не смутило царя, и по восточному обычаю он послал к нему посла с подарками.

Приехал царский посол к ремесленнику, отдал ему подарки, известил о намерении своего властелина.

Однако ремесленник нисколько не обрадовался.

— Увы, — проговорил он, опечаленный, — не могу я отдать свою дочь за человека, не знающего ремесла. Царя могут свергнуть, разграбить его дворец, и останется он гол, как сокол, не то что семью — себя не прокормит. Ремесленник же никогда не умрет с голоду: у него есть Знания, а знаний не отнять.

С этими словами и отпустил он царского посла.

01103534  
011035

Вернулся посол во дворец, передал царю ответ мастера. Царь внимательно его выслушал. Он был умен и, как все умные люди, добр и великодушен, и потому, выслушав посла, не разгневался, не побагровел от злости, но задумался и признал слова ремесленника справедливыми.

«У разумного отца и дочь должна быть умной», — подумал он, и ему пуще прежнего захотелось жениться на дочери ремесленника.

Но как было добиться ее руки? Силой брать ее в жены царь не желал, а в сватовстве ему отказали. И решил он выучиться ремеслу, а так как любил рисовать, любоваться всем красивым, то избрал ремесло ткача.

Вскоре выучился царь ткачеству. Выткал ковер редкой красоты и послал в подарок отцу девушки.

Ремесленнику понравился ковер, и он согласился отдать свою дочь за царя. Справили богатую свадьбу, и стали царь с царицей жить-поживать весело и беззаботно.

А ремесленник, хоть и сделался царевым тестем, жил своей прежней жизнью, работал в мастерской, ремесла своего не забывал.

Зять то и дело над ним посмеивался — ведь с той поры, как он женился, ничего в его владениях не изменилось, ничто ему не угрожало. В глубине души он был уверен, что царям вовсе не надо знать никакого ремесла, и считал своего тестя чудачком, но вскоре убедился в обратном.

Однажды, когда придворные докладывали царю о делах царства, в его сердце zakралось сомнение. Доклады придворных всегда были одинаковыми; все убеждали правителя, что его народ пребывает в мире и благоденствии и молится на своего владыку.

Усомнился царь и решил тайком обойти свои владения, посмотреть, как на самом деле люди живут. Переоделся он в лохмотья, приклеил бороду, прихватил с собой костью и ночью, никем не замеченный, покинул дворец.

Шел он из города в город, из селения в селение, из деревни в деревню. Много ли ходил, мало ли — проголодался и подошел к дверям духана.

Хозяин, увидев странника, завел его в комнату, усадил на тахту, принес блюда с кушаньями и, чтобы не стеснять гостя, оставил его одного.

«Он принял меня за паломника, — подумал царь, — в моем государстве жалеют бедняков и уважают благочестивых людей».

Эта мысль обрадовала его, но едва отведал он кушанья, как тахта под ним провалилась, и царь очутился в темном подвале.

Привыкнув к темноте, он огляделся и похолодел от ужаса. Вокруг валялись обезглавленные трупы.

Не успел он прийти в себя, как невесть откуда появился разбойник. Лицо его исполнено было жестокости.

— Готовься к смерти! — воскликнул разбойник и, выхватив из ножен кинжал, занес его над своей жертвой.

— Постой, — решительно ответил царь, — видит бог, у меня за душой ни гроша. Я человек бедный и одинокий, какая тебе польза убивать меня? Сохрани мне жизнь, и ты разбогатеешь. Я великий мастер ткать ковры, принеси мне шелк, и я сотку тебе ковер редкой красоты и ценности.

Разбойник был жаден на деньги, на то и разбойник. Он решил испытать пленника — все равно тому не убежать из темницы.

Принесли царю разноцветные шелковые нитки. Сел он за работу и выткал такой ковер, что разбойник ахнул от удивления. Он подумал, что только царю по карману купить такой ковер, и тотчас же отправился во дворец, к царскому визирю или первому министру.

Визирь внимательно осмотрел ковер и заметил вытканые среди рисунков слова. Присмотревшись, он прочел историю злочлчений своего повелителя, вызвал стражу и приказал схватить лжеторговца.

Злодей был потрясен, когда узнал, кто был его узником.

Народ тут же освободил царя. Дом злодея сожгли, а его самого наказали по вине его.

Тогда полностью признал царь правоту ремесленника и с той поры покровительствовал всем мастеровым.

С незапамятных времен бытовала эта притча среди беднейших жителей города. Часто рассказывали ее родители, наставляя своих детей на путь истинный.

«Пусть мне кости останутся — тебе мясо достанется, воспитаю моего сына, мастер», — с этими словами приводили отцы в мастерскую ремесленника своих сыновей-подростков и, получив согласие, уходили довольные, зная, что чада их при деле и кусок хлеба себе заработают. Иной хозяин мастерской — только родитель за порог — украдкой ронял деньги на пол: вернет их мальчик или прикарманит? Испытывал на честность, на живца ловил.

Приводили к мастеру и детей из богатых, зажиточных семей: пускай-де научатся жизни самостоятельной.

А жизнь тбилисских ремесленников — амкари — кипела! И не одни только красивые и добротные изделия шли из мастерских на рынок — нет! Не только металл или дерево принимали форму и душу под рукой мастера — замечательные нравы ковались в тесных подвалах, новые обычаи рождались в среде амкари и становились они нравами и обычаями Города!

О них мой рассказ.

Амкари интереснейшая профессиональная организация, к тому же древнейшая. Одни историки относят возникновение амкари к VIII веку, ко времени утверждения в Грузии арабского владычества: в государстве арабов существовали цехи ремесленников, а влияние арабской цеховой системы на грузинских ремесленников неоспоримо. Другой историк Николай Берзенов полагает, что амкарства проникли к нам из Персии. Так или иначе институт амкари перенят грузинами у других народов. Еще в IV веке работали в Тбилиси и Мцхета персидские мастера, хотя неизвестно, объединялись они в цехи или бродили в одиночку по городам и селам.

Впрочем, я ушел в сторону. Я должен рассказывать о другом: о нравах и обычаях тбилисских мастеров, о том, что сумел разузнать среди старожителов города. Иногда, каюсь, их сообщения казались мне слишком преувели-



личенными. Но я сравнил рассказы моих стариков с очерками об амкари, разбросанными в разных книгах, и лишний раз убедился — тбилисцы люди не лживые.

Семья амкари принимала в лоно цеха мастеров своего дела — всякого роду-племени и вероисповедания. Был у амкари свой голова — усташ, был у него свой устав, шли века, устав менялся, но оставалось в нем неизменным строгое равноправие товарищей по цеху. Никогда мастер не брался за работу, начатую другим, не осмеливался переманивать чужого ученика.

Не завидовать никому, не молвить худого слова о брате по ремеслу — было неписаной заповедью амкари. И жили цехи с незапамятных времен в дружбе и согласии, повиновались своим законам и слову усташа, ходили каждый под своим знаменем, и у каждого был свой святой патрон. Изображали его на знаменах.

Элиа (Илья пророк) чувячникам покровительствовал; богородица оберегала кожевников; Авраама с ягненком выткали на алом своем полотнище мясники; Ноев ковчег украшал древнее знамя плотников. Позднее прикрепили к нему серебряную пластинку с чеканным голубем. Это, говорят, с той поры, как в праздник крещения голубь опустился на древко их знамени. Праздник этот, как и все другие, бывал в Тбилиси ярким, красочным. Толпы народа собирались на берегу мелководного рукава Куры, ждали, пока опустят в нее крест, старались опередить друг друга — первым войти в освященную воду. А затем прямо на мелководном плесе начинались конные игры и соревнования наездников; войска салютовали в честь победителей; и тогда стаи голубей поднимались в небо. Так однажды голубь и опустился на знамя плотников — разве не чудо? Будто узнал ковчег старого праведника, и мир, благоденствие предвестил его обитателям. И украсили амкари плотников, столяров и слесарей свои знамена серебряным голубем.

Выносили ремесленники знамена из головных мастерских по большим праздникам, а уж самым большим среди них был праздник посвящения в мастера, что в народе называли «пиром амкари».

По весне ровно сорок дней и ночей амкари пировали, и не было на том пиру, да и на всем белом свете, человека счастливее посвящаемого.

Трудной дорогой шли в мастера, долгою шли дорогой, некоторые уже седыми приходили к благословенному дню. Пять, шесть, семь лет учился подросток ремеслу, и то — между делом: хозяину прислуживал, бегал по всяким поручениям, справлял мелкую работу. Жалования он не получал, жил на харчи мастера. Медленно время текло.

Проходил ученик свою трудную школу. Наконец мастер приглашал в лавку усташа и нескольких почетных членов амкари, и те, проверив работу ученика, выносили приговор. Неудачливый ученик и мастеру был не в радость: плох он — значит, и воспитатель неважный, не станут к нему водить учеников. К тому же самолюбие. Фирма.

Ну, а когда все обходилось, возводили ученика в звание подмастерья. Он вносил деньги в кассу цеха и кутил на радостях с друзьями-приятелями.

Подмастерью жилось лучше. Он получал жалованье, работал, с кем хоте-



лось, только не разрешалось ему ремесленничать в одиночку и принимать заказы без ведома мастера.

А годы все шли и шли.

— Мало научиться сделать красивую вещь, — говорил устабаш, — надо, чтобы она не похожа была на изделия других мастеров!

Говорил он словами, записанными в уставе амкара, и потому праздник посвящения в мастера был еще и праздником признания художника.

...В канунный день торжеств людно в Ортачальских садах. Каждый цех уже знает, что его уголок в саду. Туда везут жертвенных баранов, мешки риста и муки, бурдюки с вином и водой.

В огромных чанах варится шилаплави — плов с бараниной, его раздают сиротам и нищим, а самый большой котел плова и мешки со свежими лавашами посылают в тюрьму заключенным.

Завтра — день посвящения в мастера.

Из головной мастерской цеха вынесут знамя, и под торжественную музыку зурны все направятся в Ортачала. Впереди нарядной процессии будет выступать устабаш, чуть позади — виновники торжества с разноцветными шелковыми кушаками, перекинутыми через плечо. В кушаки завернут рабочий инструмент. После церемонии посвящения инструменты будут подарены мастерам.

У входа в сад встретит ремесленников распорядитель пира, доверенное лицо амкари, и поведет их к столу — раскинутой на траве скатерти, на ней в изобилии закуски, глиняные чаши, кувшины с вином. Вокруг стола зажгут свечи. Листья лозы, капусты или инжирового дерева лежат на скатерти вместо тарелок. Поодаль — котел с дымящимся шилаплави.

Священник с толстой книгой в руках явится в глубине сада. К нему подведут посвященного, и в наступившей торжественной тишине раздастся:

— По́том своим добывай и хлеб свой...

Но приберегу продолжение этой фразы на конец празднества — оно того стоит.

...Таинственной торжественности исполнен сад. Таинственна толстая книга в кожаном тисненном переплете, таинственно звучит голос священника в мерцающей золотом епитрахили. Замер устабаш, торжественный, неподвижный, нахмурившись, ждет, пока гулкое «аминь» замрет, растворившись в вечернем сумраке сада. И новичок, замороженный, смотрит на грозного повелителя мастеров, на сумрачное лицо его. О, недаром хмурится устабаш! Вот, как бы освобождаясь от магии священных слов, он встряхивает головой, быстро приближается к посвященному, хватает его за большие пальцы рук, затем отпускает и, размахнувшись истово, дает ему затрещину! Одну, другую, третью! Третий удар, говорят, был самый чувствительный, и он означал, что стерта последняя грань между мастером и подмастерьем.

И сразу шум поднимался вокруг. Цеховые усаживались за пиршественный стол. Кутили мастера три дня и три ночи. В первый день пировали в честь новых своих товарищей; во второй — в помин умерших мастеров; а третий день — намцецоба — кутеж «по следам пиршества». Под вечер



третьего дня весь амкари с факелами и цветами, с песнями и музыкой возвращался к головной мастерской, и здесь продолжался праздник, и никто уже не мог сдержать буйного веселья, повести застолье по дедовским правилам, как то было в первый раз, когда первый гость поднимался в помин преставившихся, и чаши осушались до дна, и опрокидывали их на хлеб, и строгая тишина воцарялась вокруг.

...Но не одной, друзья мои, устабашевой оплеухой и кутежами славился праздник амкари. Человек посторонний усмотрел бы в этом лишь грубость и простоту нравов, да и я не стал бы вам расписывать пиры, когда бы не были они важным и своеобразным звеном цеховой жизни. К тому же посвященный после сорока дней застолья и в самом деле уже не чувствовал себя белой вороной среди местных ремесленников, а каждый умный и сердечный гость был для него продолжением той молитвы, того благословения на жизнь, что составлено не одним поколением цеховых.

«...Потом своим добывай хлеб свой насущный, ибо сказал Бог, создав все живое: плодитесь и размножайтесь, и трудом своим наполняйте землю.

«И оделась земля в одежды изобилия и плодородия, ибо трудился на ней человек и наполнил ее трудом своим;

«И сам человек, нагой и безобразный, оделся и стал красив, ибо трудился;

«Из земли ты взят, в землю и обратишься: уходит человек, но приходит другой вместо него. Помни об этом;

«Что сделалось бы с землею, если бы хорошие мастера уносили Знание свое с собой в могилу?

«Ничего не оставалось бы нам, кроме как в скорби великой рвать на себе волосы;

«Но милостью божией получили мы в наследство Знание, в наследство и отдать его должны. Помни об этом!

.....  
 «Ты, подмастерье, возвысившийся до Мастера, ты был терпелив и послушен, поэтому и возвысился, и будешь ты отныне кормиться своим ремеслом;

«Будь праведен и честен — Соломон мудрый, пророки и святые так заповедали;

«Наставляй детей своих на путь истинный, дабы не поддались они искушению и легкая жизнь не соблазнила их;

.....  
 «Ученика своего научи трудиться честно, и будет тебе благо;

«В поте лица добывать хлеб насущный научи его;

«Ремеслу своему высокому научи его;

«И поступай ты, наш новый товарищ, с учениками своими, как мы поступали с тобой, дабы в день Суда предать пред лице Спасителя, говоря — «вот мы явились, господи, и нет на нас вины пред тобой, праведны были дела наши на земле, и чисты были помыслы наши;

«И тогда распахнет Господь перед нами врата рая и оставит нас в царствии своем;

«Аминь!»



Так жила вековая традиция.

Ученики вырастали в мастеров, приводили к ним на обучение подростков, и уже другое поколение начинало свой трудовой путь в братство амкари...

Но ремесло-то первым делом искусство, и кто знает, когда вспыхнет в душе человека негасимый огонь творчества. В искусстве не один опыт побеждает; в нем душа победитель. Не раз молодой ремесленник — в глазах мастера еще несмышленищ, еще не хлебнувший своей доли из чаши радостей и невзгод, такую красоту создавал, что в первый миг самый себялюбивый ремесленник и слова не мог вымолвить. И тут зависть подстерегала его, и тогда царство амкари терзали раздоры.

Мне вспоминается легенда о древнем Хертвиси, твердыне на берегу Куры в Джавахети, что в южной Грузии.

Две высокие башни у крепости. Царица Тамар<sup>43</sup> повелела некоему каменщику вознести их во устрашение врагов и на зависть им.

Каменщик взялся строить восточную башню, ученик его — западную. Вскоре пошел в народе слух, что западная башня стройнее и крепче восточной. Дошел тот слух до самой царицы.

Пожаловала Тамар посмотреть на башни, понравилась ей работа молодого ремесленника, и она щедро одарила его.

Затаил мастер в душе обиду. Родилась в его сердце зависть. И вот, поймав, пока подмастерье укрепит на башне последний камень, он сбил с крепостной стены лестницу — без нее не спуститься было на землю.

Тогда из оставшихся досок молодой ремесленник смастерил крылья, заложил топор за пояс и перелетел через реку. Но упал на острие топора и умер.

Ту местность на берегу Куры хертвисицы и поныне зовут «Местом жертвы».

Страшна зависть! Не удержит завистливую душу от дурных помыслов красота, возникшая для того, чтобы пробудить в ней благородство.

На стене собора Светицховели<sup>44</sup> неизвестный мастер высек руку, сжимающую наугольник.

«Десница зодчего, храм воздвигнувшего, на стене его высечена, — ходит в народе молва, — строитель храма Самтавро<sup>45</sup> из зависти отрубил своему ученику десницу».

И читают на память народное:

Всем доволен был Самтавро мастер,  
Были щедрыми его посулы,  
Ел я хлеб мой ранним утром наспех,  
Запивал водою Хекордулы.

Что хотел я, возводивший Мцхета?  
Храм построить, богу помолиться.  
Превзошел я мастера. За это  
В гневе отрубил он мне десницу.



«...Да отвратит от тебя господь злобу и зависть к твоему товарищу и твоему ученику!»

Но оставим предания. Не раздорами — сплоченностью славился цех ремесленников. В 1865 году, к примеру, когда правительство ввело новые налоги, мастера все как один вышли встречать непрошеного гостя — посланца царского.

Закрылись лавки и мастерские, опустела биржа извозчиков, тулухчи перестали возить в город воду; тысячи цеховых, вооруженные дубинами, с голышами в подолах чохи, заполнили улицы и площади.

«На кладбище устроен был митинг, — рассказывает очевидец, — мы с товарищем решили туда пойти. С трудом пробирались мы сквозь толпу. Среди ораторов особенно запомнился мне молодой ремесленник. Он горячо выступал против непосильного налога.

— Иначе, — кричал ремесленник, красный и потный, — проклянут нас дети наши, как мы проклинаем отцов, стоя на их могилах. Это они покорились царю. Предали нас!<sup>46</sup>

События принимали крутой оборот. К мастеровым примкнули остальные горожане. Непокойно становилось и на селе. Правительство спешно вызвало войско. Конные жандармы оцепили площади: у метехских мостов расставили пушки.

«Ревунам вскорости заткнули глотки. Иосиф из Тэблы, Минас Круашвили, портной Китэса и два брата Кесуанашвили и сейчас по Сибири гуляют!» — с горькой усмешкой заключил свой рассказ о бунте мастеров девяносточетырехлетний Георгий Калатозишвили, старый ремесленник.

И напрасно думали, что работа мастера, всегда связанная с торговлей, убивала в нем гражданское достоинство.

Амкарство при грузинских правителях составляло военный гарнизон, который защищал город от врагов.

В 1803 году тбилисские ремесленники вместе с регулярным грузинским войском шли на штурм Ганджинской крепости. В 1854 году, в турецкую кампанию, их в числе прочих граждан призвали в армию, и они единодушно откликнулись на призыв, явившись в полном вооружении.

К цеховым не благоволили чиновники (они-де всю торговлю в руках держат, к тому же бунтари). Еще в 1849 году торговое ведомство пыталось упразднить цеховые объединения. Защитил амкари граф Михаил Семенович Воронцов, в пору своего наместничества не раз выступавший защитником местных обычаев.

«Возможно, — писал он, — есть у амкарств свои отрицательные стороны, однако вносить в сию древнюю организацию какие-либо изменения считаю преждевременным, тем паче в их уставах много полезного для общества».

Фельдмаршал князь Барятинский, преемник М. С. Воронцова на посту наместника, докладывал в одном из своих отчетов: «Возникло довольно много жалоб на торговую монополию, которою пользуются эти общины; но, как, с другой стороны, они составляют круговую поруку против нищеты, невежества и безнравственности своих членов и образуют превосходную



внутреннюю полицию, которую никогда, по моему мнению, нельзя заменить с успехом никаким внешним установлением, то я решил совсем не касаться до сего многовекового учреждения...

Институт амкари пронес свое знамя чуть ли не до наших дней, хотя и полностью изменил свое лицо. Несколько лет тому назад правительство объединило цеха в «Городскую ремесленную управу».

Цех мастеров — та деталь разломленного образа, без которой не склеишь его, потому что я рассказываю о цехах больше, чем обо всем остальном. Я уважаю цех и голову его — уstabаша.

Уstabаша, говорят, избирали тайным голосованием, и он справлял свои обязанности до самой смерти, если к тому бывал способен, конечно. Кстати замечу — тут мнения моих стариков, знатоков цехового житья-бытья, разошлись: называли мне и имена переизбранных уstabашей, из чего следовало, что уstabаш — должность выборная. Наверное, обе стороны правы. И не в этом дело. Важна в их рассказах серьезность, и они становились очень серьезными, когда речь заходила о голове мастеров.

Решал уstabаш торговые споры между ремесленниками, а когда какая-либо сторона противилась его решению, весь цех бойкотировал устный приказ.

Я говорю «устный приказ», — ведь большинство ремесленников были люди неграмотные. При счете и то они пользовались затейливыми линиями и закорючками.

Авторитет головы мастеров не старел, его слово было законом, он и в личную жизнь ремесленников, когда надо было, вмешивался, ибо «дом изнутри рушится»...

У всего — свой конец, веселый или грустный.

«Уходит человек и приходит другой вместо него», — думали, должно быть, про себя мастера, собравшись в доме умершего товарища, а вслух обсуждали расходы, утешали вдову как умели, и опять предавались невеселой думе.

Краток день жизни человеческой — рано или поздно каждый задумывается над этим. И наш ремесленник, по-латыни не знавший, помнил о смерти — как помнил всегда и везде о собственном достоинстве и чести. Он заботился о «достойном погребении» своем — не на милостыню, не на деньги цеховой кассы — на свои сбережения. Думал о нем и тот карачохели, что за день прокучивал свой недельный заработок, а по смерти оставлял одни рабочие инструменты.

Свою «похоронную кассу» человек в черной чохе носил с собой. Она состояла единственно из серебряного наборного пояса. Серебряный пояс был святынею карачохели. Я знал одного из них, отчаянного игрока в кости. Встречал его на улице иной раз в одном исподнем, но непременно подпоясанного.

Карачохели еще в подмастерьях копил деньги на серебряный пояс, и горе тому, кто украл бы его или отнял.

Недавно я прочел в газете судебную хронику: чувячник Михаил Веляшвили не платил денег своему ученику Георгию Метепшашвили, и по



решению суда вынужден был уплатить всю сумму единовременно. Мастеру пришлось продать серебряный пояс. Не в силах снести обиду, он подстерег бывшего ученика и нанес ему шестьдесят ножевых ранений...<sup>47</sup>

Похороны для грузина — вообще статья особая.

«Хозяин кладбища должен взять с каждого смертного за могилу, ибо не пойдет на пользу душе преставившегося могила заброшенная»<sup>48</sup>, — записано в законах царя Вахтанга.

И когда в чумные или холерные годы многие в панике бежали из города, бросая на произвол судьбы заболевших родных, цеховые мастера оставались. Они смотрели за больными, хоронили умерших, исполняли свой святой долг.

Они заботились о сиротах и вдовах, и помощь их была бескорытна и негласна. Вдова ежедневно получала продукты, но никто в семье не знал, кем они посылались.

Сирых мальчиков ремесленники отводили в мастерские лучших мастеров, девушек на выданье ссужали деньгами из кассы цеха, и те собирали себе приданое...

## ПРИДАНОЕ

Слово сказано — невзначай, но давайте-ка тут остановимся. Подчинимся на время прихоти нечаянного слова и от предметов мрачных перейдем к отрадным. Проглянуло солнце в ненастный день — пойдемте же по солнечной стороне. Тем более, что это вовсе не пустяк — приданое. От него зависело целое счастье молодой жизни.

Приданое — одно из звеньев национальной традиции. У нас не то, что у мусульман, где иной жених покупал невесту за пятьдесят верблюдов или пятьсот овец. У нас за девушкой назначали в приданое золото — столько золота, сколько она весила! Знаете ли вы что-нибудь, скажем, о невесте последнего византийского императора Константина Палеолога? Нет?.. По восшествии на престол (1449 г.) император Константин отправил в Грузию своего протопрефекта Франца со свитой из вельмож, воинов, докторов, монахов и хора певчих. Дочь царя Георгия VIII весьма понравилась грекам. Приданое ее состояло из 50000 дукатов, подлежащих единовременной выдаче и еще 5000 дукатов ежегодной пенсии. После обручения царской дочери Франц вернулся в Константинополь, взяв с собой одного грузинского царедворца: император утвердил брачный акт (осень 1452 года) и сказал грузинскому вельможе, что отправит весной следующего года за невестой несколько кораблей... Однако браку этому не суждено было состояться: 29 мая 1453 года Константинополь был взят турецким султаном Мурадом II, и зять грузинского царя погиб на его развалинах.

Эти турки даже анекдот про нас сложили: в Гюрджистане, мол, разбогатеешь на девушке и... на мусоре — за вывоз из дому и того и другого одинаково хорошо платят.

Турчанки гордились, когда их покупали по высокой цене. Грузинки радовались, когда их приданое обеспечивало мужей деньгами на «карманные расходы». Но радость эта в последние годы старого Тбилиси обернулась напастью. Погоня за приданым чуть ли не эпидемией стала, особенно в простонародной среде.

Уже ничего не значило быть нареченной. Нареченная — не жена еще. Мужья требовали «взятки». Так и стали называть приданое — взяткой, а высокий народный стих сменили частушки:

Не желей, папаша, денег,  
Извела меня любовь,  
Я сама уж выйду замуж,  
Ты приданое готовь.

В городском фольклоре немало песенок и стихотворений на тему теперешних женихов и невест. Приведу одно из них:

Невесту я сосватаю  
Кривую и горбатую,  
Пускай она глупее всех,  
Пускай страшна, как смертный грех,  
Пускай она убогая,  
Рябая, кособокая,  
Но есть приданое за ней —  
Ей-богу, я женюсь на ней!  
Пускай моя красавица  
Дерется и кусается,  
Разгонит всех моих дружков,  
Наставит мужу синяков,  
Но есть приданое за ней —  
Ей-богу, я женюсь на ней!

Меркантильный молодой человек, что и говорить, хотя и не лишен некоторого воображения, некоторого дара к стихотворству. Другой жених куда менее даровит, зато наглей и циничней. Пренебрегая всякого рода поэтическими тропами, он попросту советует некоей мамаше не посылать к нему сватов, ежели невеста не запаслась «домом новым и ванной мраморной, из Европы». Это последнее стихотворение столь распространилось, что на него откликнулась даже Нино Орбелиани, дама высшего света, поэтесса. В стихах гневных и иронических она советовала «наглецу и проходимцу» пополоскаться в грязной луже вместо мраморных ванн, «благод он к этому приучен». Поддержал Нино Орбелиани и поэт Михаил Гордадзе — такими сентиментальными строфами:

Мне приданого не надо,  
Не об этом я грущу,  
Мне бы милою по сердцу,  
Целый век ее ищу.

Я любимую не знаю  
Как по имени назвать,  
Может, нет ее на свете,  
Может, некого искать.

Но о стихах разговор впереди, потому вернемся к приданому. Его, значит, собирали девушкам, целые списки приданого составляли. У меня под рукой несколько таких списков, и я в сокращении их приведу, чтобы читатель яснее представил, какое значение имело приданое, как со временем менялись его списки и по форме и по содержанию.

Начну со списка приданого Ануки Батонишвили, дочери царя Ираклия II, который перечисляет «малое» (это «малое» с трудом уместилось на шестнадцать страницах машинописного текста!) Вот выдержки:

...Из словесности грузинской:

«Вепхисткаосани» книга одна, «Тамариани», «Лейл-Меджнунани» и «Иосеб-Зилиханиани»...<sup>49</sup>

Развлечения для разумного отдыха:

«...Шахматы и нарды», перламутром и ценным деревом украшенные, гравированные и рисованные, и ганджафа, и савазихурхи, и тагвпишиши<sup>50</sup> и другие малые игры...»

Украшения женские:

«Шапку из нитей жемчужных, куньим мехом отороченную. И венеч подвечный. И ленту в жемчугах для украшения волос. И серьги с двумя рубинами алыми из Бадахшана, и двумя жемчужинами большими чистойшей воды, и двумя изумрудами нишабурскими с цепочками, в кои тридцать шесть яхонтов вправлено. И брошь одну хорошую, благородную, с девятью златыми гнездами, в кои вправлены благородный изумруд, семь рубинов, двадцать яхонтов, пятьдесят девять жемчужин, та брошь с бахромой и кистями. И качму, подвязку к венцу подвечному с белой жемчужиной, крупной, чистойшей воды, златой каймой окаймленную и цепью из драгоценных камней. И султанчик, украшающий головной убор, вправлены в него три (белые) жемчужины чистойшей воды, четыре червончатых яхонта и сорок четыре жемчужины малые. И пару златых цепочек на грудь — круг шеи обернет их дважды. И одно ожерелье и нагрудник златотканый...»

Для женского туалета:

«...Корзинка серебряная. И чаша для благовоний серебряная на серебряном же подносе. И короб златой темно-желтый. И зеркало в златой оправе, жемчугом инкрустированное. И гребень жемчужный...»

Банные принадлежности:

«...Покрывало одно голубое. И две банные простыни, из коих одна гладкая. И два полотенца. И две накидки шелковые, коврик и войлок. И большой серебряный чан для купанья. И таз для купанья один. И тунг для согревания воды один. И котел один...»

Белье:

«...Рубашек — девять. И девять рубашек тонкотканых. И девять рубашек ферейданского шелка. И пуговицы для рубашек из девяти зерен благородного жемчуга. И шаровар десять...»

Платье:

«...Платье испанской парчи изумрудно-желтое с пуговицей златой гиланурской. И платье красное вязаное, с наборами, испанское с девятью

пуговицами жемчужными и застежками. И фиолетовое езидской вязки с гиланурскими пуговицами и застежками. И платье французского атласа соломенного цвета с девятью парами золотых крючков. И девять платьев чесучевых — три красных, три фиолетовых, три зеленых. И пять платьев в складку со золотым узором. И девять платьев простых. И девять платьев французского шелка, из них — два бирюзового цвета, два, подобные цвету граната, три зеленого цвета и два оранжевых...»

Для спальни:

«Покрывало большое кирманское. И покрывало золотого шитья. И четыре занавеси. И шесть занавесок для ниш...»

Посуда:

«Тарелки и чаши из страны китайской и венецианской, и кувшин. И чаша золотая. И пиала серебряная. И миска серебряная. И ложка разливательная серебряная. И столовый нож, золотом окованный...»

Второй список отличается от первого незначительными деталями. В третьем списке перечислено невероятное количество жемчугов и драгоценных камней.

Любопытен Четвертый список — список приданого царевны (дочери последнего грузинского царя Георгия XII). В нем упоминается платье с 1260 жемчужинами, но я приведу здесь лишь небольшое предисловие к списку и перечень книг светской литературы:

«Дочь свою мы выдаем замуж, и святое таинство венчания уже совершили, и в приданое даем сокровища бесценные и вещи удивительные, ибо она Само свет во образе сияния, и она достигла совершенства в Слове Божиим и науках эллинов, и достигла совершенства во всех делах, приличных милосердию и добродетели, и она получила в дар от всевышнего красоту неопишуемую.

Луне в полнолуние подобна она, что, сияя среди звезд, сама уподобилась рассветной звезде, гонительнице мглы, распахивающей врата утра. Словно кипарис, она в саду элемском; щедростью своей превосходит она богатства земель плодородных и умом равна мудрецам; и мы по уму ее даем за ней книги...

«Картлис цховреба» полный список и «Хронограф», книгу, повествующую о жизни греков<sup>51</sup>; и «Ситквис кона»<sup>52</sup> — полный словарь Сулхана Саба Орбелиани, «Килила и Дамана», и книгу, именуемую «Иосебзилиханиани»; и «Вардбулбулиани»; и «Шампарваниани»; и «Маджама», сочинения венценосного Теймураза<sup>53</sup>. Все эти книги — в переплетах золотого тиснения с корешком древней работы. Также даем за ней книги мудрых эллинов — Грамматику, Риторику, Диалектику, Категории<sup>54</sup>; и «Мудрость вымысла», книгу притчей Сулхана Саба Орбелиани; книги «Висрамиани», «Караманиани»<sup>55</sup>.

Все эти книги, за исключением церковных, — а церковными книгами, как правило, открывался перечень приданого, — были рукописные и стоили они, порой, дороже самого драгоценного ожерелья.

В пятом списке встречаются вещи, не упомянутые ни в одном из предыдущих списков: «...Черные коралловые четки, салфетка, дюжина деревян-

ных ложек; три тарелки заморские, сундук астраханский, рубашка банная с полотенцем, два зеркала; одно комнатное, второе — малое ручное; два одеяла — одно тавризское, второе русское, хрустальная водочная рюмка, медный чайник, оловянный кофейник, черпак колодезный, котел большой...»

Шестой список носит уже сугубо тбилисский характер:

«Выдаем мы замуж дочь нашу Терминасову Екатерину за Исаику Элибаровича Бабалашвили лета от рождения Христова 1854. Даем за ней приданое — сорок туманов серебром, шубку бархатную, платье атласное с цветами, пояс атласный с золотой вышивкой, нагрудник с золотым шитьем, ожерелье с жемчугом, золотые серьги с жемчугами, три золотых кольца; изумрудное, рубиновое и жемчужное; аршадскую шаль, косынку, сверток шелковый, платье с блестками, архалук атласный, высококачественной ткани, тюлевый лечаки, полдюжины багдадских платков, дюжину головных повязок, дюжину головных ободков, три юбки, одну банную простыню, банный халат с полотенцами, чулки, башмаки, туалетное зеркало, ящик для рукоделия, переносной сундучок, пару подушек из гусяного пуха с парчовыми наволочками и белыми покрывками и прочее, и прочее...»

Наберись терпения, читатель, я должен познакомить тебя еще с одним — Седьмым и последним списком, прочитай его так же внимательно, как ты прочел первый список. И даже с большим вниманием, потому что он — свадебный фирман героя моей книги — карачохели.

...Может быть, ты и в глаза не видел всех этих списков, но если ты уже в летах, тебе, вероятно, приходилось встречать на улицах зурну, играющую свадебную песнь, и маленького мальчика с зеркалом, прижатым к груди, следующего за музыкантами. За мальчиком идут двое юношей, на голове у каждого — по паре подушек, подушки перевязаны голубыми лентами. Затем еще двое юношей несут по паре мутак в пестрых шелковых чехлах и аккуратно сложенное шелковое одеяло. Потом ты бы увидел мужчин, следующих друг за другом, они несут таз для варенья, ящик со всякой мелочью, шкаф, комод, тюк и, наконец, пару кроватей с ковром, на котором вытканы львы... Эта процессия переносит в дом жениха основное приданое. Остальная мелочь по списку укладывается в сундуки и связывается в узлы.

Вот и этот последний список:

«Во имя отца и сына, и святого духа, аминь!

Даем все, что у нас за душой, любимейшей нашей и желаннейшей дочери:

- Куклу одну нарядную;
- Одну шифоньерку орехового дерева;
- Четыре подушки с наволочками;
- Четыре занавеси;
- Один шкафчик для хранения хлеба;
- Два шампура \* для поддевания хлеба в тонэ;
- Дюжину ложек хорошей фабричной работы;
- Ступу медную;

\* Кочерга с загнутым острием.



Грузинский календарь Мдиванова;  
 Банный кирпич для ног (пемза);  
 Одну рубашку без рукавов для бани;  
 Шестнадцать глав «Караманиани»;  
 Пару мышеловок;  
 Швейную машину «Зингер»;  
 Двенадцать мотков ниток;  
 Один серебряный поднос восьми с половиной фунтов весом;  
 Таз для варенья;  
 Медный таз и черпак;  
 Полдюжины желтых кутаисских веников;  
 Шумовку;  
 Большие янтарные четки;  
 Короб для нюхательного табака с портретом шаха — свекру;  
 Черное шелковое платье — свекрови;  
 Дорогую шелковую шаль — золовке;  
 Таз для белья, три котла, подставку;  
 Шесть зеленых платков багдадских;  
 Чашу для благовоний;  
 Пару мутак, набитых шерстью;  
 Два тюфяка;  
 Два ковра с выбивалкой для пыли;  
 Бельевую веревку;  
 Карабадин — книгу лекарств;  
 Пять банок козьего сала;  
 Хну и басму, перемешанную с сушеной гранатовой кожурой, — помогает от головной боли;

Сушеную панту (дикую грушу) — от болезней желудка излечивает...»  
 Комментарии, как говорится, излишни. Списки в достаточной мере красноречивы... а потом, известное дело, свадьба.

Славен тбилисский пир, особенно пир на плотках. Вообразите себе связку из шести плотов, которые мерно покачиваются на блестящей поверхности ночной Куры между косыми столбами лунного света.

Впереди невеста с женихом, священник, дружки, сватья. Посередине вокруг костра уселись гости, багровый отблеск пламени лежит на их лицах.

Там зашлись в пляске, тут — жарят шашлыки, вылавливают сетями рыбу из Куры и бросают в котел с кипящей водой...

Ну, а царская свадьба...

Вот, что говорит французский миссионер Шарден в своем «Путешествии в Грузию».

«...Царю Шах-Навазу угодно было пригласить меня (в 1666 г.) вместе с придворным медиком, капуцином патером Рафаилом Пармским на свадьбу своей племянницы. Когда я пришел, обряд венчания уже был окончен. Зала так была набита дамами, что я не мог видеть новобрачной. Здесь едва нашлось место для католика, епископов и близких родных. С того времени, как введено в Тифлисе магометанство<sup>56</sup>, женщинам запрещено

находиться в одном зале с мужчинами; тогда как в деревнях, где нет магометан, женщины ходят без покрывал и не стесняются присутствия и беседы с мужчинами...

В зале была устроена тахта, или возвышение в два фута высотой и шесть шириной. Над нею — шатер о пяти колоннах, обтянутый золотой и серебряной парчой, бархатом и расписным полотном, так изящно сделанный, что при свете это казалось обвито цветами и мавританскими украшениями. Вся зала, устланная прекрасными коврами, освещалась сорока большими подсвечниками, четыре из них, стоявшие перед царем, были золотые, остальные серебряные. Каждый подсвечник весил около сорока фунтов. Крылья или ветви их, имевшие в высоту один фут с половиною, поддерживали стаканчики, наполненные очищенным салом, горевшим в двух светильнях. Гости расположились на тахте. Царь сидел посередине эстрады, более возвышенной и покрытой сводчатым балдахином. Он велел посадить меня с капуцинами возле епископов. Гостей было более ста человек. Сын царя и братья сидели направо от него, епископы налево. Внизу расположились музыканты.

После того, как мы сели, католикос ввел в зал новобрачного. Его посадили, и тогда начались поздравления и подношения подарков, что продолжалось около получаса. Подарки заключались в серебряных и золотых монетах и серебряных кубках.

Перед ужином разостлали скатерти, принесли хлеб. Хлеб был трех видов: тонкий, как лист бумаги, толстый — с палец и мелкий сладкий. Вареная говядина подавалась в больших серебряных бадьях, покрытых крышечкой. Блюдо было большое, тяжелое. Подносчики подавали его вначале царю, потом остальным. Ужин состоял из трех блюд. Первое было из плова, различных цветов и вкуса, с живностью: желтый — с сахаром, корицей и шафраном; красный — с гранатовым соком; белый, природного цвета — лучший на вкус. Второе было из паштета или пирога, тушеного мяса, мяса поджаренного, сладкого и кислого. Третье было жаркое. К этим трем блюдам прибавились блюда рыбные, яйца и зелень; сии кушанья приготовлены были для духовных лиц. Все совершалось чинно и удивительно тихо. Каждый из гостей делал свое дело молча, без разговора. Мы, европейцы, за столом шумели больше, чем остальные сто пятьдесят человек, бывших за столом.

Меня больше всего поразило богатство буфета или столового прибора. Он состоял из 120 ваз для питья, кубков, чаш, рогов, 60 фляжек и 12 огромных серебряных кувшинов. Роги были оправлены так же, как самые богатые кубки. Они были самой различной величины и превосходно отполированы. Иные были от единорога. На востоке существует предание, что рог этого животного уничтожает яд, брошенный в напиток. Другие роги были бычьи или бараньи; пьют из них на Востоке издревле.

Пили много «во здравие». Я и капуцины были свободны от тостов. Нам давали пить, когда мы того требовали. При провозглашении тостов гремела музыка и раздавались песни. Концерт нравился обществу, которое казалось в восхищении от него...<sup>57</sup>

Потом царь и его приближенные ушли, должно быть, в баню, продолжать пиршество.

Удивляться тут нечему. Пировали у нас в банях. А баня тбилисская — особенная. Не заглянуть в нее — все равно, что побывать в Париже и не подняться на Эйфелеву башню.

## БАНЯ

Древние арабские писатели, между прочим, относят тбилиссские бани к «чудесам света».

Все они были каменные, со сводами, свет проникал сверху через купола, едва освещая глухие кирпичные стены: пол выложен был плитами серого пористого камня, из него же и ванны. В так называемых особых номерах ванны облицованы мрамором; пол в прихожей устлан коврами, а лавки покрыты разноцветным сукном, в изголовье кладутся продолговатые подушки-мутаки.

«...Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлиссских бань,— рассказывает Александр Сергеевич Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум во время похода в 1829 году». Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гасан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он мне ломать члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку...) После чего долго тер он меня шерстяной рукавицей, и сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух!.. Шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря Гасан опустил меня в ванну; тем и кончилась вся церемония...»

Это все истина. В этом вы и сегодня можете убедиться, и я ничего не стану добавлять к превосходному пушкинскому описанию. А вот еще: «Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе не одетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем,— сказал мне хозяин,— сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда».— «Конечно, не беда,— отвечал я ему,— напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления, они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею чадрую: ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них и в самом деле были

прекрасны... Зато не знаю отвратительнее грузинских старух — это, ведь мы...»<sup>58</sup>

...Я несколько сомневаюсь в правде этих строк, но вот и Александр Дюма клянется, что в 1854 году в тбилисской бане он оказался в том же прекрасном окружении. Он же был свидетелем гибели одного епископа в бане. Епископ возлежал на простыне, над бассейном. Четыре служителя держали простыню за края. Святой отец принимал, следовательно, парную ванну, а так как был он человеком стыдливый, то очень забеспокоился, когда некто посторонний увидел наготу его. Слуги устали, и угол простыни выскользнул из рук одного из них. Епископ плюхнулся в воду. Слуга бросился вытаскивать его и обварил руку. На крик сбежались банщики, но было поздно: епископа извлекли из кипятка вареным<sup>59</sup>. Вот тебе на — сварился епископ!

Где тут правда, где фантазия — кто знает? Они похожи как сестры-близняшки. Пускай совесть великих сочинителей будет спокойна: потомство им верит. Но ты, читатель, поверь и мне: не могу представить, чтобы стыдливые наши жены, прибегавшие ко всякого рода ухищрениям, чтобы как можно незаметнее отправиться в баню, и бровью не повели, увидав там мужчину. И как это епископы падают в теплую серную воду и мгновенно увариваются там, словно в серном источнике фазан, что подстрелен был Вахтангом Горгасланом?

Баня в старину все двадцать четыре часа была открыта. Случалось, заезжали сюда на ночлег крестьяне, зимой лучшего постоянного двора не отыскать было. И женщины просиживали в бане целый день — бассейнами тогда служили углубления в скале, и узкие, тесные гrotты купален освещались факелами. В те стародавние времена мужчины и женщины ходили в баню в разные дни. Рано утром, нагрузив ученика из мужей лавки узлами с бельем, отправлялась в баню представительница прекрасного пола и в сумерки, стараясь не встретить дорогой мужчину, возвращалась домой.

Так-то, господа путешественники.

Общей женской баней была «Ходжа» или «Ага-Магомет-Хана». Рассказывают, что скопец этот, Ага-Магомет, наслышавшись историй о целебных свойствах серной воды, искупался в ней, но, как и следовало ожидать, мужского достоинства не обрел и велел баню разрушить. Эта купальня знаменита была еще и потасовками. Шумели там наши скромницы гулко, пускали в ход кружки, тазы, гибкие прутья для стирки белья. Давали волю сокрытым, так сказать, в глубине нежной души чувствам. И поныне, услышав шум перепалки, говорят: «точно как в бане».

Но будем снисходительны к слабому полу. Баня, должно быть, заменяла им и церковь, и клуб: и по душам поговорить, и посплетничать в свое удовольствие. Недаром и поговорка есть: «Хочешь поболтать — ступай в баню». Милые дамы умолкали здесь, лишь чтобы позавтракать и пообедать: заботливые мужья непременно посылали им в баню обед. После обеда начиналось чаепитие.

Огромный самовар шумел в предбаннике, все блаженствовали, усевшись вокруг. Развлекала их одно время слепая Майя Гермесашвили. Ее по праву называли ашугом. Мир за чаепитием воцарялся полный.

Банний день заканчивался обычно показом нарядов — только в бане могли похвастаться ими: на улице все скрывала пресловутая чадра<sup>60</sup>.

Вы видели женщину в чадре? Не то мумия, не то мешок, неизвестно чем наполненный, движется вам навстречу, а из-под него то и дело мелькают золотые коши. Мужчины равнодушно проходят мимо: мешок и мешок. Но как-то раз блеснули мне глаза, о, эти нежные глаза, они горели таинственным и смутным светом... «Кто хочет прочесть запретное, тому следует посмотреть в глаза женщине», — говорит турецкая пословица, но, кажется, я отвлекаюсь.

Лучше нашей серной бани  
Нет, поверь, и не бывает.  
Все похмелье прочь выходит,  
Все грехи она смывает.

Там жара и там прохлада,  
Лучше бани нету места.  
Женщина — гляди — выходит:  
Как заря — опять невеста!

Свахи не забывали в бане своего ремесла. Даже смотрины здесь устраивали. Не одну молодую ошастливили, не одну обездолили, выдав за богатого старца. В городской народной поэзии сохранилось анонимное стихотворение — плач девушки, сосватанной в бане.

Ой, не размыкать горя черного —  
Молоденькую замуж отдали  
За старого да за никчемного —  
Ой, как овечку меня продали!

На то ли горе сваха подлая  
Меня, девчонку, в бане сглазила —  
Уж лучше красота покорная  
Могилу бы мою украсила!

Ах, красоте моей не рада я —  
На что, на что мне тело белое,  
На что мне губы, цвет гранатовый,  
Глаза, как ежевика спелая?

Кому горит румянец пламенный?  
Завяну я в моей обители.  
Прости меня, о боже праведный,  
И накажи моих губителей.

...Пир в бане — древний обычай. Рассказывается о нем в грузинском переводе — переложении поэмы «Шах-Намэ»<sup>61</sup>.

«Сорок дней продолжалась свадьба, и на сороковой день снарядили экипажи... Царь взял одну корону, которая весом была сорок фунтов, и одно платье — было бы оно (весом) около ста сорока фунтов — послал их Сааму и призвал его. Саам, получив от царя повеление и одежду, взял четырехсотфунтовый бич, пришел во двор; только он подступил к воротам двора,

вышли юноши, пошли в баню. Потом (царь) послал ко всем людей, какие только были князья и княжичи, и всех призвал в баню. И пришли все разом со свечами, и факелами, и светильниками, и пришли вместе с ними певцы...»

Что ж, верно, звучал хор и в бане — не только в церкви, и заполнял сводчатые залы; веселых кутил вводила песня в восторг, отдавала их грусти, раздумьям, и тогда тбилисская баня напоминала, я думаю, храм Диониса. Мужчины выходили из бани, заглядывали в ашпахану отвечат плова или подкрепиться люля-кебабом, обжигающим пальцы. Но это потом, а раньше в банях и пировали.

«Передают, — пишет Сулхан-Саба Орбелиани, — было у нас законом: если встречали иноземца, звали его к себе домой, в баню вели, одаривали и отпускали с миром...»

Обычаи отцветают — как все на свете. И выпивая после бани кружку пива, вы не скажете, что это ваш «банний пир».

Но, дорогой читатель, вернемся к любезному мне карачохели, обыкновенному тбилисцу, каких тысячи. Шел он с кутежа в баню похмеляться, и зурна сопровождала его до самых дверей.

Заслышав знакомый напев, выбегали навстречу банщики, звали цирюльника. Пока карачохели бреется, стол уж накрыт. Разделим этот веселый час, послушаем тосты.

«За человека, который на нас взглянет, худое увидит — не помянет, добро заметит — лаской ответит».

«За виноградаря, что по винограднику пройдет, упавшую лозу найдет, с земли поднимет, урожай снимет, пьян с того урожая будет и нас не забудет».

«За луну, что ярко светит, чтоб нам, беднякам, дорогу заметить, с пути не сбиться, в овраг не свалиться, насмерть не разбиться».

«За дерево на берегу реки, если оно сохнет без воды, — пошли ему долгую жизнь и воду, господь всемогущий и милосердный».

«За благословенный богом плот, что паводком к земле прибьет, бедняки его разберут, выстроят мост, по мосту пройдут».

«Гей, шайтаны, а это особая здравица, скажем, голубю голубка нравится, и голубке голубь мил, сатана их разлучил. Две голубки на деревьях сидят, друг ко другу перелететь хотят, хотя да не могут, молятся богу. Вдруг ветер придет, деревья пригнет и голубков соединит... Выпьем за брата Пирюза и Саломе, его нареченную».

«А это за соловья, который на могилу нашу прилетит, на плите могильной передохнет, воды напьется; на бога взглянет и сладким пением нас помянет...»

«А теперь, братья, пускай сам бог благословит того нашего друга-кутилу, который в воскресенье в церковь отправился, чтобы богу свечку поставить, но встретились по пути голодные дружки; но понятно, с друзьями вино пьется, а бог, как-нибудь обойдется».

«А теперь выпь за того, что при зажженных свечах нас дома ждет, не дождетс...»

.....

Зачастую тосты говорили загадками:

«Многие лета, кто двенадцать месяцев в году ходит, и к концу своему приходит, но так и не знает, когда конец наступает».

(Человек.)

«За того, кто не сеет, не пашет, только жнет, тем и живет...»

(Цирюльник.)

Не знаю, как вам, а мне по душе эта наивная мудрость, эта поэзия неграмотных людей, милы мне их обычаи, нравы, их пословицы и поговорки:

Ранняя ссора лучше позднего мира;  
Второй ломоть за первым не угонится;  
Правду добыть — птичье молоко испить;  
Носа не будет — глаза передерутся;  
Бессовестному человеку плевков в лицо — все равно, что дождик с неба».

Или короче:

«Плюй в глаза — все богия роса»;  
«Игрок игроком, а кости свое скажут»;  
«Стыд — на осла садиться, позор — свалиться»;  
«Верблюд и клетка?»  
«Совести у него, что волос на курином яйце»;  
«Свой желудок брата ближе»;  
«Два жонглера рядышком по одному канату не пройдут»;  
«Была бы голова — шапка найдется»;  
«Хвалил горшок кастрюлю, а оба в саже».

Все, о чем я тебе рассказываю и о чем еще расскажу, дорогой читатель, ведется у нас со времен адамовых. Обычаи тбилисские духом своим и смыслом создали нечто неповторимое, достойное удивления. И любимец мой карачохели знает, а лучше сказать, исповедует нечто такое, чего нельзя понять сразу и тем более невозможно понять одним умом, и одной только прозой нельзя этого передать. Послушай, как за столом поет любезный мне герой:

Я шапку синюю карачохели,  
Я шапку чести сдвину набекрень.  
Трудился я, как бог велит, неделю —  
Сегодня красный день!

Пусть миллионщик деньги копит —  
Последний грош да будет пропит!

Сегодня пьян и весел я, но, брат мой,  
Я разве помешал кому-нибудь?  
Вино нам верный друг в судьбе превратной,  
И ты мне другом будь.

Пусть миллионщик деньги копит —  
Последний грош да будет пропит!

Я гол и бос — так что ж? Я не в убытке:  
Моя душа веселая поет.

Карадохели все пропьет до нитки,—  
Но шапку чести не пропьет.

Пусть миллионщик деньги копит —  
Последний грош да будет пропит!

Полюбуйся им: он беспечен и волен, как птица; он живет сегодняшним днем, день завтрашний препоручая господу, и ничего ему не надо, кроме вина и хлеба, а пара огурцов в придачу ему покажется манной небесной. Его дружба крепка навеки, он голову сложит за друга-приятеля; он правде поклонится низко; за благое деяние, кто бы ты ни был, расцелует — только не вздумай посмеяться над ним, коли почувствует он в разговоре насмешку, — станет издеваться в ответ, да так, что самого себя проклянешь...

Вот и сидит за столом — что-то взгрустнулось ему. Широкая душа, богема городской жизни! Не ищи в нем, читатель, маленьких добродетелей, но представь, что рожден он для жизни героической, для событий крупных — и тогда все встанет на место. Тогда и жизнь огромного пестрого города приобретет черты крупные и неповторимые.

Ты увидишь город-крепость.

Ты увидишь город-кавахану.

Ты увидишь город-храм.

Воздух здесь, что ли, такой? Будто надышала его сама Поэзия и дала городу — имя, а певцам его заповедала дарить сердечным теплом каждого, кто ступит на землю Тбилиси.

И сколько тут было поэтов!

Да, так я величаю безвестных ашугов Тбилиси.

## АШУГИ

Надо сказать, что у нас в старину невозможно было представить праздника без поэта, точнее, без ашуга.

Великий Руставели, правда, относил их поэзию ко второму разряду, справедливо считая ее увеселительной, но отмечал, что она приятна сердцу, коли смысл ее понятен.

Песни тбилисских ашугов все понимали. Их любили и простонародье, и знать.

«Ашуг» — арабское слово, означает оно «влюбленный», «пребывающий в вечной любви».

Ашуги экспромтом сочиняли стихи и пели их, сопровождая себя на кяманче или дайре. Таким образом они были и поэтами, и певцами, и музыкантами и в этом смысле положили начало некоему синтетическому искусству. Не стану утверждать, да и неверно было бы, что их мелодии чисто грузинские. Поэзия ашугов переселилась к нам из Ирана, но в ходе времени изменилась до крайности, и песни ашугов уже и персидскими не



назовешь. Утвердились они в Грузии в конце шестнадцатого века. Дело в том, что со времени завоевания турками Константинополя нарушились живые связи Грузии с Афоном и Палестиной, ослабло греческое и с ним вообще западное влияние. Наследники грузинского престола сперва по принуждению шаха Ирана, а потом и по доброй воле, воспитывались при его дворе, а с семнадцатого века, когда магометанство распространилось среди владетельных князей, не приняв новой веры, о троне и думать нечего было.

Тогда-то вместе с персидскими нравами и обычаями, законодательством и государственным институтом проникли к нам художественная литература, музыка, изобразительное искусство. Сами грузинские правители руководили переложением персидских поэм и романов на грузинский язык, хотя это отнюдь не было копированием оригинала.

Песни тбилисских ашугов, должно быть, казались персиянам странными, пусть и возникли в Иране. Подите попросите сегодня какого-нибудь ашуга исполнить персидскую песню. Он вам ответит, что такой не знает, а грузинскую — извольте, споет. Споет он, впрочем, персидские стихи, некогда переложённые на грузинский язык, но тбилисский пульс давно уже забил в них, пульс иного, особого, наполнения, интонации, звучания. Это уже *наш Восток* — грузинский, тбилисский!

Грузинский народ, в вере Христовой, понятно, не сотворит себе кумира из ашугов. Они никогда и не были нашей национальной гордостью, но всему свое место в подлунном мире, и в песнях ашугов нет ничего смешного, тем более предосудительного. Культура национальная немыслима без заимствований, вне определенного влияния соседней культуры, вне осмысления древних нравов и обычаев, знания своей истории; а кто из вас, дорогие читатели, станет отрицать, что кяманча, чонгури, саз, дайра, сантури, дудуки, зурна и прочие старинные музыкальные инструменты не исторический материал?

Тот же Шарден сообщает, что после тостов гремела музыка и раздавались песни. Концерт нравился обществу, которое казалось в восхищении от него. Для него же ничего не было приятного в оркестре. Ему он, напротив, показался грубым и худо слаженным. Царь был доволен и весел...

Вот и слуху современного грузина, подобно европейскому путешественнику, чужды старинные «расти», «шустара», «таслиби», «саари» и другие восточные песенные ритмы.

Уже само слово «ашуг» вызывает пренебрежительную усмешку: «Чепуха какая-то. Нашли, о ком говорить!»

В старину однако, уважаемые дамы и господа, отношение к ним было, как уже отмечалось, иное. А ведь, положи руку на сердце, не сплошное дурачье жило в старину?!

Я не ратую за какую-то окаменелость искусства, боже упаси, я хочу только сказать: изучая европейскую музыку, будьте добры, не забывайте нашей. Многие ли, к слову, потеряли немцы, коли почитали и почитают «певца любви» Вальтера Фогельвейде<sup>62</sup>, или французы — трубадуров. А ведь их творчество сродни песням ашугов.



Так или иначе, возможно, азиатская музыка не удовлетворяет вкусу какого-то там меломана, но она наша, она часть нашей культуры и, ей-богу, никакого кощунства, если рядом со скрипкой произнести волшебное — *чианури*.

*Чианури!* Преданный забвению, почти изгладившийся из памяти.

По словам музыканта Александра Оганезашвили, *чианури* — обязательный музыкальный инструмент при мусульманских религиозных обрядах. Арабы и поныне читают коран в сопровождении музыки *чианури*. Он состоит из четырех частей-символов: стрелы, лука (смычок), купола и минарета (остов) и символизирует меч и веру и, вероятно, его появление в Грузии относится ко времени вторжения арабов.

Возможно. Впрочем, не знаю. Не мое это дело — заниматься подобными исследованиями. Иная забота лежит у меня на сердце: Восток меня заманил, увлек, приручил, не могу от него откреститься и вам не советую. Как тут не вспомнить слов автора бессмертного «Фауста».

«Персы из всех своих поэтов за пять столетий, признали достойными только семерых, а ведь и среди прочих забракованных ими многие будут почище меня...»<sup>63</sup>

Или моего современника:

...Величествен Восток. Жгуч и протяжен его знойный полдень, когда среди пиршества солнца в золотистых ручьях рождается синеглазая дева; глубока и уединенна его полночь, когда тысячи тайнств сверкают на темно-синем дне небес. Восток поразителен с его мудростью, пламенеющей в светлой нирване<sup>64</sup> на ослепительно-ярком ковре персидских снов... А ведь Грузия — часть Востока! Восток — колыбель наша. Драгоценна Европа, но мы не можем уступить ей Востока. Лучше справить их свадьбу за грузинским пиршественным столом!..

*Грузия — часть Востока*, и если мы до сегодняшнего дня питались его искусством, так не дадим ему увянуть, согреем своим теплом, озарим своим светом и вернем миру!

Разговорился я, читатель, не в меру, не правда ли? Что ж, ничего не поделаешь, по мне любая подробность важна, коль скоро задался целью оживить уже не существующее.

Это требует от вас, друзья мои, известного терпения и жертвы драгоценного времени, но, смею уверить, — автор потратил и того и другого, мягко говоря, не меньше. «Народ, — сказал автор самому себе, — из своего славного прошлого черпает надежду на будущее. Воскресим же время». Так сказал себе автор и три года с отрешенностью скорбящего по умершему близкому жил духом этого прошлого, знакомился со всем, что хотя бы отдаленно с ним было связано, и, порой, не находя в книгах нужных сведений, обращался к «живым летописцам», скрупулезно просеивал через сито своего разума истории, который они «помнили». Вижу, иные обезвоженные, как древесный уголь, ученые насмешливо кривят губы: однако, господа... Многому, поверьте мне, многому можно научиться и многое узнать, не копаясь в архивах. Без знаний нельзя, конечно, не обойтись без книг, тем более, когда пишешь «исторический очерк», но не беда, если



согреешь окаменелые, холодные строки чувством и непосредственностью. Не беда. Я не фантазировал, нет. Я бросился в волны поэзии и, казалось мне, берегов нет и не будет; и подумал я, прости, господи, что за это взялся бы лишь такой, как я — пропащий. Разве уважаемые критики снизошли бы до певцов из сословия карачохели? Бог с вами! Их дело — чистое искусство, а не беседы с людом каваханы. Им подавай готовое. Раскритикуйте кого угодно, но только уже известных, «легализованных мастеров», если, понятно, о них уже высказывалось, с позволения сказать, мнение. Ну а если мнение не высказывалось, если его не существует, то и писать нечего — нет еще готовой формулы. Сколько статей было написано о наших славных писателях, но, положа руку на сердце, посчастливилось ли вам встретить в них новую, свежую мысль? Хотя бы в многочисленных статьях о Николозе Бараташвили или Акакии Церетели?

Бараташвили — поэт-пессимист (грузинский Байрон); Церетели — поэт-оптимист (грузинский Пушкин). Не больше, не меньше. Я не хвалюсь. Отнюдь. Народная мудрость недаром положила цену самохвалу в «один огурец». И венца я себе не ищу, и в мученики от литературы не пробиваюсь. Хочу только сказать, что я, хотя и поэт, не люблю успех сработанного дела и в каждой детали вижу нечто весьма знаменательное. Вот и корплю. Копаюсь. Бросаюсь из каваханы в библиотеку и обратно.

Представьте себе кавахану. В прокуренном насквозь просторном зале яблоку негде упасть. Пахнет кофе и пряностями и сладями, что ли. Оживленный говор на миг затихает, на тот самый миг, пока какой-то человек в островерхой барашковой шапке пишет на свитке загадку, в стихах, разумеется, и прикрепляет ее к дорогой персидской шали в центре зала. Это ашуг. Возможно, местный, возможно, иноземец — каждый ашуг, отправляясь в чужую страну, непременно должен встретиться с местным и вступить с ним в состязание. Порой то были просто вопросы в стихах, требующие ответа в той же форме, порой представления, порой загадки.

Свиток с текстом загадки прикреплен к шали. Автор загадки посматривает на своих соперников. Их видимо-невидимо. Ведь и зрителям разрешалось участвовать в состязании.

Разгадать загадку не так-то просто. Завсегдатаи каваханы собирали деньги, прикрепляя их к тому же платку. Ничего не поделаешь, видно, деньги в известной мере стимулируют и сообразительность. Тем более, если победитель получает все. Если же победителя не будет, гонорар вручают автору. Порой загадку всю неделю разгадывали, набиралось до трехсот рублей — сумма по тем временам немалая.

Тут, справедливости ради, надо сказать, что ашуги в старину редко когда брали вознаграждение деньгами. Кувшин вина, сыр, огурцы, зелень и рыба — весь их гонорар, прибавьте к этому сладкие звуки дудуки и убедитесь, что наши предки умели и бороться за освобождение родины и предаваться эпикурейству.

Да, о чем бишь я?

О соревновании в кавахане уже сказано. Но устраивались в те времена

и другие представления, весьма, на мой взгляд, полезные для народа. Речь идет о *нагли* — передвижном театре. В его репертуаре были сказки, переложенные на стихи, библейские сюжеты и легенды. Это было что-то вроде оперетты. В основе пьесы лежала сказка, артистами были ашуги, а сценой служили подмости, сколоченные на какой-нибудь площади. В пьесах ашугов, как в фантастических сказках, была и драма и комедия, и смех и слезы. Зрители с нетерпением ждали воскресного дня. Небо не успевало окраситься в цвет камня, как они собирались на площади, где поудобней, где спокойно можно досмотреть представление до конца. И... слушали сентенции о человеколюбии, о единстве и любви, страхе божем, покорности родителям, почтительности сыновей, помощи ближнему... Все эти диалоги или монологи исполнялись на определенную мелодию и блистали афоризмами из священного писания. Это ли не школа? Не один человек благодаря нагли — передвижному театру ашугов — приобщился к знанию, свету, добру.

Между прочим, состязания в стихосложении пользовались успехом не в одной простонародной среде. «Превосходные устраивались соревнования в каламбурах, песнопеньях, стихотворстве и играх у царя», — сообщает Давид Гурамишвили<sup>65</sup>. Давид, очутившись в России при дворе Вахтанга VI, естественно, привлек к себе всеобщее внимание, ласково был принят царем, назначен им на должность начальника арсенала и жил в царской резиденции. В свите царя-изгнанника оказались еще два поэта — Джавахишвили и некто Фома, которые часто, но, как и следовало ожидать, безуспешно соревновались с Гурамишвили в мастерстве экспромта:

«...С Джавахишвили пустили меня состязаться, стихотворцем неважным, как я;  
Худоликим, сухотелым, похожим на кривое, сучковатое дерево,  
Всё, что я ему сказал,  
Точно крапива, обожгло его под хвостом,  
Много раз он скулил, как собачонка, и, под конец  
Убежал, поджав хвост...»

(Перевод подстрочный.)

У Акакия Церетели в поэме «Торнике Эристави» также описан пир у царя, где «развеселились, посоревновались в стихосложении и каламбурами забросали друг друга...» Победителем в этом соревновании вышел царев шут.

Любили у нас поэтов. Да и как было их не любить, когда они, благословенные, сеяли семя святое, и там, где монахи и священники порой запинаясь, бормотали скучную проповедь, они брали слово.

Народ уважал умного своего наставника.

Ходили, правда, слухи, будто люди боятся магической силы проклятий ашугов и потому внимательны к ним сверх меры. Ходили слухи. Ничего не знаю о магической силе проклятий, но в силе поэтического слова уверен как в самом себе. Что странного, если кто и побаивался поэта, старался не попасться ему на язык.

Умели ашуги швырнуть в лицо хлесткое слово, метнуть его, как камень из пращи; никого не щадят, никого не побоятся, но не злоба, не мстительность, не ущербность природы своей — благодарная дерзость правила



ими. Слово их исцеляло, что с того, что горько. Какое такое лекарство меда слаще? Лекарство подслащивают, чтобы дитя не упрямялось, не выплевывало его на пол. И вот наши ашуги нашли, чем подсластить свое словоснадобье — сладкозвучной мелодией — и в этом смысле принесли нам больше пользы, чем иные толстенные книги. Напомню: в те стародавние времена не было ни газет, ни журналов, раздобыть бумагу стоило огромного труда и, собственно, поэты города несли в народ Знание. Стихотворения свои они не записывали по элементарной причине — неграмотности, но памятью отличались поразительной. Устно, из поколения в поколение передавались стихи и мелодии к ним, а если кому-то везло: попадалась в руки рукопись, он буквально хватал ее и «переписывал на воловью лопатку сажей горшечного дна». Небольшая тетрадь (четыре-восемь страниц) переходила из рук в руки.

Сейчас, сотню лет спустя, если что и сохранилось, то копия, неразборчивый, перевранный, прямо скажем, испоганенный текст. Бог весть, сколько мы потеряли! От иных ашугов остались одни имена, а было их не десятки — сотни. Не все, конечно, одного ранга и достоинства. Одни поэты сочиняли и исполняли свои стихи на трех языках (грузинском, армянском, азербайджанском) — это подлинные ашуги; другие только сочиняли, третьи — лишь исполняли, прекрасно, впрочем.

Ашуги, которых я называл подлинными, появились у нас в начале восемнадцатого века. Они твердо отстаивали принципы своего творчества, высоко ценили свой талант, не мелочились, не разбрасывались, тяготели к образованию, изучали поэзию прошлого, потому как сознавали собственное свое значение и старались передать грядущему поколению безупречные творения.

На рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков широкое распространение получил песенный стих мухамбази — стихотворение из пяти строк с пятью или более строками в строфе с однозвучной рифмой. Мухамбази по своему ритмическому строю (шестнадцать слогов), как бы настаивал на мелодию и, можно сказать, им заболели. «Повинен» в этом Саят-Нова. Автор «Калмасоба»<sup>66</sup> говорит устами великого поэта.

«Я хорошо играл на чонгури и на персидскую мелодию сочинил грузинские стихи. Однажды царь Ираклий пожелал устроить празднество. Позвали нас, игроков. Я спел сочиненное мной. Такая песня исполнялась впервые. Повелитель был доволен весьма и подарил мне халат со своего плеча. Потом и другие певцы, мне подражая, сочинили много таких песен».

Восемнадцатый век в Грузии вообще можно назвать эпохой поэтического взрыва. Писали все. Писали цари и лавочники, ремесленники и вельможи, священники и разбойники; иные из кожи вон лезли, стараясь сказать нечто свое, оригинальное, неповторимое. О том, что кишка тонка — никто думать не думал. Писали. Писали, глядя друг на друга... Писали в подражание... Писали... назло.

Это хорошо — писать назло! Все равно, что бросить камень в затхлый пруд. Однако бросок броску рознь. Нет ничего лучше удачно брошенного

камня, и нет ничего опасней, когда не умеешь его метнуть — выплеснет  
ся гниль на берег и отравит все окрест.

Ну а подражатели? Подражатели, у нас во всяком случае, вместо пращи веретено крутят, безотрадно, как старушки. Подражать легче, следовательно, подражателей больше. Некоторые писали прямо, указывали, кому именно подражают, а царь-поэт Арчил тот вообще презирал писателей, которые не подражали. Восхваляя поэтов-подражателей, он говорит: «...других же стихотворцев упоминать не стоит, они даже Шота (Руставели) подражать не могут». Вот оно как.

Я не разделяю мнения досточтимого Арчила и с огорчением вынужден отметить, что, разыскивая грузинские стихотворения Саят-Нова, нашел лишь жалкий их десяток, зато познакомился с целой хрестоматией произведений его учеников и подражателей, превосходно составленной и переписанной Давидом Ректором, каллиграфом и ученым, бывшим главой Телавской духовной семинарии, кропотливым переписчиком «Витязя в тигровой шкуре».

«Его сиятельство князь Георгий Игнатьевич Туманов, — сообщает Давид Ректор, — статский советник и кавалер повелел мне собрать и описать сказанное разными стихотворцами».

Так вот, перелистывая рукопись Давида Ректора, я нашел немало стихотворений авторов, вполне достойных одобрительной улыбки, дружеского рукопожатия; пришлось, к сожалению, познакомиться и с такими, которые вызывали что-то вроде морской болезни. И что примечательно: среди истовых поклонников мухамбазического стиха оказались известные государственные деятели того времени, министры, придворные, военачальники, знатоки «Витязя в тигровой шкуре». О стихотворениях одной части этих господ можно, правда, сказать «ничего себе», но ничего — пустое место. Их стихотворения не трогают душу. Понятно — они испытали столь сильное влияние истинно талантливых поэтов, что искра божья, которая в них тлела, померкла, покрылась пеплом и погасла.

Помню, 8 марта 1915 года, в день похорон Акакия Церетели, в слове, посвященном памяти великого нашего поэта, Нико Ломоури между прочим сказал: «Я тоже писал стихи в молодости. Однажды решил показать их Акакию. Он несколько раз внимательно прочел рукопись и вернул ее.

— Ничего, неплохо, — сказал Акакий, — вроде бы все на месте; есть и мысль, и ритм, и рифма, и язык хороший, а все равно не стихотворение».

Все это однако не означает, что подражатели — люди, начисто лишенные дарования. Отнюдь. Возьмем, если угодно, авторов фальшивых списков «Витязя». Нанучу Цицишвили, скажем, полиглота, ученого, приближенного царя Ростома. Ему приписывают авторство многих поэтических произведений. Он же считается одним из переписчиков поэмы Руставели в семнадцатом веке. Так он не только переписывал ее — переделал не понравившиеся ему строки и продолжил, дополнив «Витязя», ни больше — ни меньше, ста семьдесятю строфами. Вообще все переписчики того времени как будто обязанностью своей почитали переиначивать

руставелевские стихи. Об этом много писали, но все еще до конца не выяснено касательно подлинника.

Двадцатипятилетним юношей Акакий Церетели писал: «Мне тоже довелось прочесть старые книги... Я не только слушал стихи, сочиненные Бесики и его цехом, но и сам, бывало, напевал. Его «Стройный стан», «Черные дрозды» и «Я вошел в сад печали» приводили меня в восторг. Сейчас, не скрою, эти стихи услаждают слух праздного человека...»

Однако прошло еще несколько десятков лет, и Акакий «нашел время», чтобы в подражание авторам стихов для «слуха праздного человека» написать превосходные мухамбазические стихи: «Несчастливая моя судьба», «Я медленно шел по подъему», «Будящая печали, ты часть сердца моего», «Звезде моей и року»... В 1893 году в Кутаиси вышел сборник песенных стихотворений А. Церетели «Свирель», в котором такого рода стихов изрядное количество, а что сказать о его пьесе «Кинто»?

Обращение богом нам дарованного поэта к отжившему свой век жанру, думается, вполне понятно. Он видел, как велика была тяга народа к песенным стихам, и душу и разум его терзала мысль об их художественной и смысловой несовершенности, мотивах эпикурейства и эротики, порой порнографической.

Мухамбази Акакия, однако, хотя и получили признание, но лишь в просвещенных кругах. И тут на помощь пришли поэты города. Именно они, а никто другой, распространили их в народе («Сулико», к примеру).

Известный ашуг Азира говорит: «Акакий и Саят-Нова любили народ, оба были рабами и слугами народа. Когда появился Акакий, ашугов уже забывали, и старое уступало свое место новому. Великий талант поэта бурлил и переливался через край, как источник, выбившийся из глубин самой земли. Акакий обратил внимание на старые голоса. Он выкроил, сшил и разложил на прилавке бесчисленное множество драгоценных вещей, но, к несчастью, разносчик не появлялся...»

Вот такими-то разносчиками и стали ашуги. Они во главе с Азира нашли этим песням покупателя: создали мелодии к ним и распространили в народе.

«Какой из писателей,— говорит увлеченный Азира,— какой проповедник внушил бы народу то, что мы внушали своей сладкозвучной игрой и пением?»<sup>67</sup>

Жизнь тогдашнего города, возможно, была органичнее, но, несомненно, беднее нынешней. Не было театра, в нашем понимании слова, не было печатных книг, чтобы хоть в чтении «убить тоску по доброму старому времени», но кое-что было. Храмовые праздники, скажем. Они бывали довольно часто.

В городе и окрест было много церквей, празднующих день своего образа-покровителя. Со всех уголков страны стекался народ на Болнисоба, Телетоба, Барбароба, Шавнабадоба... Приезжали певцы и сказители, мастера экспромта и творцы эпоса.

Гостеприимство, веселье, энтузиазм фейерверком радости озаряли искусство. Как же мог не прийти сюда карачохели... Он и жену сюда привез, к чудотворному образу. И хоть сам не очень-то верит, что хвóрая его



половина тут исцелится, вида не подает. Он приехал «иконе поклониться и в пиру возвеселиться» словом...

...Гаснут в домах светильники, со скрипом раскрываются двери, выходит на порог патриарх будущего пира, садится в экипаж, важно и кратко бросает вознице: «Трогай!»

Фаэтоны, пролетки, дрожки тянутся по дороге. Босые женщины в черном и белом сторонятся верховых. Влчатся арбы, нагруженные снадью, слышится бляеные жертвенных ягнят: они, непорочные, угодны святому образу.

...В церковной ограде дымятся костры. В углу двора крестьяне раскладывают товары. Длинные ковры и паласы расстелены на земле, человек тридцать сидят вокруг каждого; уставлен ковер снадью и кувшинами с вином. В центре внимания — гости — тбилисские ашуги, они приехали на праздник показывать свой передвижной театр.

А перед представлением, словно увертюра,— диалоги ашугов. Такие, к примеру:

— Сперва ячмень и солому ел, уши длиннющие имел, уши упали, шея сломалась, одна челюсть осталась, спорить с вами осмелюсь — вострее булата оказалась челюсть. Отгадайте, кто это был, который ею врагов изрубил?

— Это голова ослиная, пасть ощерена, уши длинные. Самсон богатырь ее подобрал, размахнулся — врагов разогнал!<sup>68</sup>

— Посох, так посох; жезл, так жезл, деревяшками полон лес; но люди видели, свидетель бог, ходило дерево, хотя и без ног...

— Как же не видели чудо-бога; волшебный жезл Моисея-пророка. Палкой простою был он до срока, не было знаменье пророку Моисею, и дерево обратилось во змея!<sup>69</sup>

— Известно, братья, могила темна, неподвижна обитель вечного сна, однако на свете могила была, по синему морю могила плыла...

— Во чреве кита во время оно по морю плавал пророк Иона!<sup>70</sup>

Или:

— Что свисает с небес до земли самой?  
Кто быстрее всех унимается?  
Что переходит из рук в руки?

— Дождь свисает с небес до самой земли,  
Быстрее всех ребенок унимается,  
Из рук в руки деньги переходят.

— Что в воде не мокнет?  
Что в земле не грязнится?  
Как зовут птичку, что вечно одна в своем гнезде?

— В воде свет не мокнет.  
Благородный камень и в земле чист.  
Сердцем зовут птичку, что вечно одна в гнезде.

А потом начинались представления. Разыгрывались сцены подвигов





народных героев, и тысячи зрителей, затаив дыхание, внимали актерам, и наградой им была благодарность.

В восьмидесятых годах прошлого века перестал существовать театр ашугов — первый вестник грузинской эстрады.

Это, так сказать, летний театр, театр на колесах. А в унылые зимние вечера приходили ашуги в кабахана-кофейни Шайтан-базара. Мне довелось видеть там одного ашуга-турка. Он ходил между столиками с сазом в руках и пел легенду о Кер-оглы.

...Табунщик, отец Кер-оглы, послал хану молодого жеребца Гирата. Не понравился жеребец хану, и повелел он ослепить табунщика. Пригнали Гирата обратно в табун. Кер-оглы растил Гирата, и жеребец становился все красивее, все крепче, и стал он конем, каких не отыскать. Узнал об этом коварный хан, приказал привести к нему Гирата, но Кер-оглы не отдал своего питомца. Он убил ханских слуг и укрылся с друзьями в Триалетских горах. Наводил молодец страх на ханских приспешников, грабил богатых, одаривал бедных, а по ночам слагал песни. Он сложил столько песен, сколько звезд в небе...

Два с лишним часа пел турецкий ашуг о любви Кер-оглы к дочери хана, похищенной им; он пел о подвигах, об удали молодецкой, покачиваясь в такт тягучему напеву, а в другом зале кофейни в это время игрался спектакль театра теней, театра Карагеза.

...Некогда правил в Турции султан Мурад. Слыл он в народе правителем справедливым, благочестивым, по всему мусульманскому миру шла о нем молва. И захотел султан Мурад укрепить свою славу — выстроить мечеть до самого неба всему свету на удивление.

Лучших турецких мастеров созвал он в священный город Бурсу. Взялись они за работу, не год и не два мечеть строили, но конца все не было видно. И повелел Мурад узнать, не мешает ли кто мастерам. Приехали гонцы его в Бурсу, сошли с коней, видят: расселись люди на земле, задрали головы кверху и покатываются со смеху. Наверху, на строительных лесах, каменщики Карагез и Ходживата, переодетые дервишами, пляшут, поют, рассказывают смешные истории. Народ веселится, позабыл о своей работе. Гонцы султана и на другой и на третий день пришли, и опять каменщики потешали мастеровых. Доложили об этом повелителю правоверных. Он разгневался и приказал казнить Карагеза и Ходживата. Отрубили весельчакам головы, только после этого дело и вовсе не пошло, потому что грустно стало на душе у народа. И померкла слава Мурада.

Видя это, султан и сам опечалился. Тени безвинно убиенных являлись ему по ночам, упрекали в жестокой несправедливости. Тогда призвал султан шейха; спросил, как избавиться от страшных видений, смущающих душу и разум?

— О повелитель правоверных, — сказал мудрый шейх, — я помогу тебе, я излечу тебя от напасти.

Он выкроил из верблюжьей кожи фигурки двух каменщиков, привязал к их рукам и ногам шелковые нитки, спрятался за занавес и потянул за нитки. Потянет вниз — поднимется у фигурок рука, опустит — опустится;

и задвигались фигурки, заговорили, и были они как живые Карагез и Ходживата — ведь шейх говорил их голосами и рассказывал истории, услышанные от них.

Развеселился Мурад, сошла печаль с его лица, но тут шейх замолчал и вышел из-за занавеса.

— О повелитель, — молвил он, кланяясь, — мы все, подобно теням, промелькнем и исчезнем, — стоит ли тебе печалиться? Пусть отныне тени двух каменщиков веселят твое сердце.

Так, по преданию, родился театр теней, прозванный театром Карагеза. Из султанского дворца вышел он на площадь, весь Восток обошел и к нам пожаловал, в тбилисскую кавахану, поселился в ней надолго. Конечно, и театр Карагеза, как все в мире, со временем изменил свое лицо. У веселых каменщиков появились товарищи, сотворенные по их образу и подобию, светские пьесы вытеснили сцены из Корана, обновилась и форма спектакля. Я посетил одну из них.

В затемненном узком зале от стены к стене протянуто белое полотно. Расплывчатые тени застыли на нем. Зал гудит. Зрители нетерпеливо ерзают на стульях, перешептываются, стараясь угадать в едва уловимых контурах пятен на полотне героев будущего представления. Наконец тени начинают шевелиться, становятся резче, отчетливей, конкретней. Откуда-то из глубины зала доносится голос. Это заговорил владелец театра, по существу, единственный «всамделишний» актер. Зал, затаив дыхание, слушает рассказ о похождениях картонных человечков, следит за их движениями, прислушивается к беседе, вместе с ними смеется, пугается, грустит, спорит. Пьеса, помнится мне, рассказывала о приключениях моллы, портного и плотника. Жили они каждый своей жизнью, пока не встретились, а встретившись, решили отправиться путешествовать. Шли они вдоль рек, через горы, через леса; повидали разные страны и города. Как-то, удирая от разбойников, они заночевали в лесу, условившись по очереди сторожить друг друга. Первым сторожить выпало плотнику, и, чтобы скоротать время, он смастерил из дерева фигурку девушки. Портной в свой черед сшил ей платье, а молла своими молитвами оживил ее. Ну а где женщина — там и раздоры. Заспорили три приятеля — кому из них по праву она принадлежит?

Вопрос этот был обращен к... зрителям.

Театр теней — их было несколько в Тбилиси — под конец превратился в обыкновенный сатирический театр. В нем высмеивали всех и все, общественное и личное, богатство и бедность, родовитых и безродных, слабых и сильных. Владелец театра — его называли Карагезом, по имени героя легенды — приводил в движение картонные или кожаные фигурки, говорил за своих героев — мужчин, женщин, стариков, детей. Имитатор он был великий, играл на всех восточных инструментах, пел.

## АЗИРА

К концу рассказа об ашугах я, мой читатель, словно лакомое блюдо, поднесу тебе стихи Азира. Азира стоит особняком. Его жизнь — продолжение повести о Саят-Нова, ибо ни Иэтим Гурджи, ни кто другой, о которых речь впереди, не были столь достойными преемниками знаменитого «Отца ашугов». Бодрый старик с отвислыми, с проседью, усами, в высокой каракулевой шапке, в платье горожанина с просторными разрезными рукавами, он и внешностью походил на своего знаменитого предшественника.

Азира писал стихи, сам сочинял к ним музыку и исполнял их. На старости лет он, правда, потерял звучный свой голос, но «что высокий глас певца, коль слова бессмысленны у песни?» (так он сам говорил).

Азира — Абрам Абрамов — родился в 1845 году в деревне Шулаверы Борчалинского уезда, Тифлисской губернии. Умер 14 января 1922 года в Тбилиси...

Подобно тому, как Давид Гурамишвили в XVIII веке и Акакий Церетели в XIX веке привнесли и утвердили в классической литературе народный язык, творчество Азира утвердило формы и образы городской народной поэзии.

Азира был усташем амкари ашугов (существовал в Тбилиси и такой цех) и в этой своей должности принес много добра людям, и, прежде всего, слепцам. Он обучал их пению и игре на дайре и кяманче, тем самым спасая от голода и нищеты. Тбилисцы любили слепых ашугов, любили их чианури и утренние серенады — саари. И пели они, право, один другого лучше. Помню слепого Ягор — звезду моих литературных вечеров. Между прочим, слепой Ягор не раз провожал домой с кутежа своих пьяных товарищей.

Ягор любил Азира. Ягор его боготворил. «Слаще дайры Азира ничего на свете нет», — говорил слепец. Дайра была любимым музыкальным инструментом Азира. Играя, он вкладывал в ее ритмы всю свою душу. К рукописному же наследству своему относился весьма небрежно: терял стихи, а порой, вертя в руках клочок бумаги, не мог разобрать, что же на ней написано. «Я должен сопровождать каждую свою рукопись», — сказал он мне как-то.

Надо заметить, что Азира не был любителем эротических мотивов, характерных для творчества его собратьев.

Будь, о душа, как вино светла.  
 Лучшие помыслы сохрани.  
 Не умножай в этой жизни зла,  
 Помыслы темные — прогони.

Стройные долгие голоса  
 Строго переплети,  
 Выгони прочь Шадимана-пса,  
 Моурави великого чти.

Только доброе вносят в дом,  
 Жизни не пожалей...  
 Что мне дворец в раю чужом —  
 Есть могила в родной земле!

Великого Моурави в народной поэзии первым оживил Азира. Это патриотическое стихотворение продолжают другие, в которых мотивы любви к родине звучат полнее и выразительней.

Сын мой, прекрасный, как кипарис,  
Не омрачи мои дни —  
Грузии, к морю бегущей вниз,  
Землю оборони.

Сын мой, за родину смерть сладка!  
Мальчик прекрасный мой,  
Помни наказ отца-старика,  
Но лучше вернись домой.

А если ты упадешь в бою  
На камень или траву,—  
Буду я славить доблесть твою,  
Буду,— пока живу.

Воин грузин говорит:

Мой легкий прах земле моей верните,  
И где Святая высится гора —  
Меня над городом похороните,  
И пусть героя славит Азира.

\* \* \*

Если в путь тебя увлек  
Жребий твой — строптивый конь —  
Дедовского очага  
Вспомни ласковый огонь.

Если жаждою палим,  
Ты к чужой реке приник —  
Благодарно помани  
И своей земли родник.

Конь летит во весь опор —  
Только пыль из-под копыт.  
Помни, как в родном дому  
Пахнет дым и дверь скрипит.

Как младенцем в первый раз  
Перелез через порог,  
Не забудь,— а то и жизнь  
Не пойдет бродяге впрок.

Ансамбль Азира играл в грузинском театре, в антрактах. О приглашении ашугов в театр он рассказывает: «Незавидно положение и нынешнего театра,— а каким оно могло быть тогда (имеется в виду 1880 г.). И все же не похвастаю, если скажу, что простонародье в театр ходило из-за наших песен. В театр я привлекал таких людей, которые и не знали, что сие значит. У меня было семьдесят пять учеников — грузин, армян, иранцев, греков — со всех уголков Грузии. Приезжали гурийцы,

тушины, кистины, курды — за песней, за прекрасным грузинским языком. И вооружал я их стихами, и расходились они по всей Грузии и по всему Кавказу»<sup>12</sup>.

Не перечислить, сколько людей, благодаря песням Азира, пристрастились к чтению! А как любовно он относился к просвещению! «Ах, увидеть бы мне аробщика, читающего на арбе «Иверию».

Сладостные и певучие стихи Азира опьяняли, но могли звучать и резко, и горько. Во всем чувствовался характер.



Последний грош я свой отдал  
Слепому, выходя из храма.  
«Жадюга», — вдруг он мне сказал  
И глянул злобно так и прямо...  
Увы, Азир, таков весь свет,  
О том печалюсь я и плачу.  
А зрячий тот слепец впридачу  
Еще и плюнул мне вослед.  
Пора привыкнуть, Азира,  
Что делать, — уж судьба такая.  
Все бормочу: «Пора, пора».  
Я ни к чему не привыкаю!  
Как дружеский тяжел поклеп!  
Твои слова переиначу,  
И причитаю, и судачу,  
Тебя кладут живого в гроб,  
Готовят катафалк и клячу...  
Не хороните! Не пора!  
Я не такой — я Азира!..  
Но не кричу я — плачу, плачу...  
Все перепутала молва.  
Ей все равно: героем, трусом,  
Иудой или Иисусом  
Тебя чествовать: она права —  
Она молва... Но что со мной?  
У ваших окон я маячу,  
Как бессловесный зверь лесной...  
Я Азира — я плачу, плачу —  
Но вы не плачьте надо мной!

Азира в своем творчестве часто прибегал к эзопову языку и «болтовней» старался указать народу его недостатки, пороки. Вот одно из его аллегорических стихотворений:

Среди зимы и лета,  
Как лошадь и верблюд,  
Ты трудишься. За это  
Тебя по морде бьют.

Кто громкий рев услышит,  
Подумает: герой!  
Но ты стоишь под крышей,  
Голодный и худой.

Оплакивать напрасно  
Твое житье-бытье.



Душа твоя прекрасна,  
Да кто видал ее?

Невидимые души  
Истощенные кричат,  
И видимые уши  
Потешные торчат,

Пусть мир переменится,  
Но ты всегда — осел.  
Чего же ты добился  
И что ты приобрел?

Среди зимы и лета,  
Как лошадь и верблюд,  
Ты трудишься. За это  
Тебя по морде бьют.

Азира в лучших своих вещах приближается к «чеканной твердости» Ильи и «мягкости» Акакия. Его поэтическая метафора сильна и оригинальна. И очень сильна интонация: музыкальная природа стиха и высокий предмет речи сливаются. Стихи приобретают рыцарственную осанку... Но что об этом толковать? Пусть они звучат сами.

Какие дни, какие числа!  
Мы дети времени сего —  
Оно в нечистом куври\* скисло,  
И ломит скулы от него.

Блажен живой — кто вживе умер,  
Кто стал умен и полоумен,  
Кто ловок, как веретено,  
Кто хвалит уксус — не вино.

Кто крепкую имеет спину...  
О, время, вот мои стихи —  
И я — твой сын. И мне как сыну —  
Расплачиваться за грехи...

Азира был популярен. Его стихи звучали за пиршественным столом, на похоронах и поминках.

Нужно отметить, что устабаш-певец не превратил свое искусство в источник дохода. Он, правда, пел на всяких пиршествах, и это приносило ему некоторые средства для жизни, но всегда держался с достоинством: «Почтительно, гордо всюду держаться буду». Бывали случаи, когда в пьяной компании Азира говорил: «Я здесь лишний», — брал дайру и уходил:

Что с тобой: у тебя два лица —  
Почему не четыре ноги?  
Не хочу ни вина твоего, ни тельца:  
Я — Азир, мы с тобою враги.

\*Большой глиняный кувшин для хранения вина.

Никогда не пройду по мосту твоему,  
Разольется пускай река.  
Я Азир — век не пил я в твоём доме —  
И не буду — века.

Почти все афоризмы Азира стали принадлежностью народной мудрости. Эта мудрость в его стихах ритмична, как звуки дайры. Во время, когда разного рода певцы восхваляли «вино, женщин и дудуки», Азира, этот новый Саят-Нова старого Тбилиси, поет:

Если бы мы были едины —  
Были бы непобедимы.

Азира пишет и такие стихи, как «Март месяц». Это известное стихотворение изображает царскую Россию, которая преследовала свободолюбивый народ. За этот «Март месяц» наш поэт угодил в тюрьму.

Согласитесь, что и в этом есть признание поэтического дара. Слова били в цель, помогали человеку осознать однообразие уродливой жизни, которая подобно безлунной ночи, кошмаром давила фантазию мыслящего человека. Слова Азира о единстве перекликаются со стихами Акакия Церетели:

Ай да мы: не зная страха  
И врагов своих любя,  
Так и лупим — для размаха —  
По лбу — обухом себя!

В это время уже не нужны были сладостные напевы. Бывают в жизни народа минуты, когда лучшей музыкой становится барабанный бой. И стихи Азира последнего времени звучат по-иному:

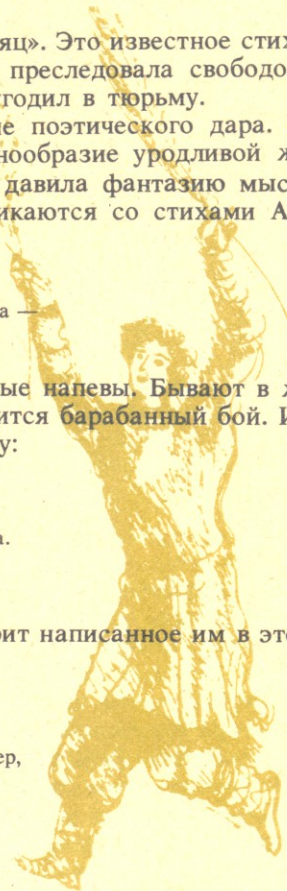
В черное вы одеты —  
Вам обещаю я  
Праздник красного цвета.  
Помните, сыновья,  
Поверны мои приметы.

Как встретил Азира 1905 год? О том говорит написанное им в этом же году аллегорическое «Мухамбази о куме»:

Кум и сват, владыка, обер-  
Прокурор немало попил  
Нашей крови — только помер,  
Догадался, наконец!

Он бывал весьма полезным  
В отношении железном —  
Стал он духом бестелесным.  
Помер, помер наш отец!

Кто кричит и воду мутит?  
Нет режима. Что же будет?  
Кто прикажет? Кто осудит?  
Кто повесит, наконец?



Горе, горе, человеки!  
Кум лежит — сомкнуты веки.  
Дух, и прах, и все доспехи —  
В землю, в землю! На келехи\*  
Призывает вас певец!

Таково было лицо Азира-ашуга!  
Он верил, что его стихи разойдутся по родной стране, а себе строго  
предписал:

Остерегайся пышности распутной  
И резвости пера,  
И правды легкой и минутной  
Не жалуй, Азира.

Ты мастер, никого  
Не слушай, кроме бога,  
И слово в ясности его  
Воздвигни строго.

Азира первым из тбилисских поэтов воспел «угнетенного» и «трудящегося». Его герой не был человеком, который ходил-причитал, трудился, жил и покорно умирал... Нет, он был гражданином сильной воли и пронизательного ума, хорошо сознающим свое положение и отплачивающим: «добру — добром и злу — злом».

24 мая 1920 года в рабочем клубе праздновался полувековой юбилей творческой деятельности Азира.

Я был лично знаком с ним. Это была чистая, крайне скромная, обаятельная, жизнерадостная, общительная личность. Но как ужасна старость! Когда я увидел Азира в последний раз, он был похож на собственные мощи. Но еще теплился его дар.

«Кто я? Прошлое тень иль грядущего призрак?»

Умер Азира. Он посвятил свою жизнь дайре и чианури, и дайра и чианури провожали его в последний путь. Его ученики на могиле покойного устроили пир — именно пир, а не плачевную тризну? И как жених-карачохели идет на могилу отца и под музыку зурны испрашивает благословения, так и ученики Азира на его могиле играли любимые песни учителя, чтобы тень мастера благословила их. Затем, согласно старому обычаю, они сложили на могиле музыкальные инструменты, поклялись хранить строгие заветы учителя и с зажженными факелами в руках вернулись в дом Азира.

В его комнате они поочередно ночевали сорок дней и ночей, чтобы очаг покойного не остыл и его дух жил в его песнях.

В кофейне, где они собираются, висит дайра Азира, которую никто не имеет права тронуть: когда Азира умирал, он потребовал дайру и заиграл на ней. Ходит легенда, — и в эту легенду верят, — что дайра покойного по ночам едва слышно наигрывает его мелодии.

\*Поминки.



О, да, этот человек с его тбилисским темпераментом, несомненно, фантастическая фигура. Много воды протечет под Авлабарским мостом, а Тбилиси не родит такого ашуга.

Умер Азира, и закрылись те врата, откуда, словно караваны, выходили ашуги. Умер Азира, и замутился тот чистый родник, под струями которого расчесывала локоны литературная богема Старого Тбилиси...

## БИБЛИОТЕКА

Надобно вам знать, что мир грузинских книг велик, древен и разнообразен; их биография удивительна. В коротких тревожных перерывах между войнами создавались шедевры нашей словесности: «Вепхисткаосани», «Дидмоуравиани», «Мудрость вымысла», «Давитиани».

...От отца к сыну, из поколения в поколение переходили драгоценные рукописи. Похвалялись своей библиотекой цари и вельможи, купцы и ремесленники, платили переписчикам огромные деньги, лишь бы иметь под рукой рукопись. Не одни ученые мужи зачитывались книгой — неграмотные ремесленники приглашали на дом чтецов, и вся семья, усевшись в кружок, затаив дыхание, слушала рассказы о похождениях сказочных героев. А чтецы, исхудалые юноши, и сами зачарованные волшебным сказом, не фразой — каждое слово распевали, и бог весть, сколько неграмотных мастеров благодаря им потянулись к грамоте, сколько завлекли они в мучительный, но сладкий мир творчества. Дорога была книга сердцу народному. И стоила она дорого. Недаром в списках приданого первым делом упоминались рукописи.

В семидесятых годах прошлого столетия книга подешевела. Появились первые издатели, первые массовые издания: романы, короткие рассказы, сборники стихотворений. Десятками тысяч экземпляров расходились они в народе, выдерживали по четыре, пять изданий. Правда, большинство их не отвечало высоким требованиям искусства слова, иные издатели перевирали содержание, приписывали чужим произведениям строки собственного сочинения, но ведь то был первый весенний поток, и неважно, что воды его были мутными; муть оседает, и вода начинает играть родниковой голубизной.

Книжный базар тучнел. Наш друг карачохели спешно занялся новым промыслом. Помню Эсагова — он и сейчас, впрочем, жив, — встречал я его на улице непременно с корзиной в руках. «Я сказками торгую», — важно говорил он знакомым и семенял на своих кривых ногах к Майдану, на рынок. Сказками была наполнена его корзина, и самой волшебной среди них была книга о Карамане.

Огромная, в двести пятьдесят страниц, рукопись «Караманиани» в старину хранилась в грузинских семьях наряду с «Вепхисткаосани». Поразительная меткость, образность, пластичность языка «Караманиани»



околдовывали, его метафоры уносили на крыльях фантазии в иные миры. «В тех краях проживали жестокие дэвы, там не ступала нога человека, только дикие ветры гуляли, и воинство каджей<sup>73</sup> справляло свои шабаши. Но вошел герой Караман в царство зла.

— Эгей, Караман! — словно гром загремел, крикнул дэви. — Не за смертью ли сюда пожаловал, или ушла смерть из твоей страны, тебя испугавшись?!

Нахмурился могучий витязь. Левой рукой схватил он себя за правый бок, правой рукой — за левый, себя самого заключил в железные объятия и закричал, призывая полки свои, и от крика его души тех, кто стоял вблизи, покинули тела. Лошади, слоны и единороги, толстыми цепями привязанные к столбам, заметались, разорвали цепи и побежали, и задрожала земля, заходила под ногами. Воины в страхе великом попадали на землю и лежали, не смея поднять голов.

И стоял Караман над ними.

И был он росту девяносто девять сажений ровно. И обхватил он скалу, преграждавшую путь храбрым полкам его, и держал над головой три дня и три ночи, пока не прошли под нею все полки, все воины до последнего...»

Книгой «неожиданностей и изумлений» назвал бы я «Караманиани», может быть, потому так самозабвенно любили ее тбилисцы, великие охотники до всего неожиданного.

«...Скала злобы выросла в душе персидского шаха, ожесточилось сердце его, призвал он свое войско. И когда собрались полки его, тесно стало на земле от их множества, сокрыли они солнце от глаз людей, и ночь наступила среди бела дня... Проведал индийский царь, что персы идут на него войной, выступил навстречу врагу.

В долине, окруженной высокими горами, остановились войска. Расступились ряды их, давая дорогу избранным богатырям, и походили богатыри на чудесное сияние, словно излила его, разверзшись, земля и сомкнулась вновь. Стали богатыри индийские против богатырей персидских, обнажили мечи булатные. Завязался кровавый бой. Головы молодецкие падали на землю, как яблоки с яблони. Настала ночь, и укутала она заботливо мертвых героев.

Наутро вновь расступились ряды полков, и вышли на поле брани другие воины. Было их всех числом двадцать четыре: по двенадцать витязей с каждой стороны, и одолели в жестоком бою персы.

Уже и клич победный готов был вырваться у победителей, когда ворвался в долину на белом коне молодой индийский витязь. Взмахнул он плетью — шестерых положил на месте; взмахнул другой раз — не осталось ни одного. И, увидев это, прискакал Караман на своем шестиногом коне, и схватились два воина, и дивились полки силе и красоте героев. Целый день длилась жестокая схватка. Сумерки сползли с гор. Раздались голоса труб, возвещающих мир, ибо такой был обычай войны — ночью запрещалось убивать. Но два героя, одержимые жаждой борьбы, тайно покинули шатры свои и вдали от людей, у подножья высоких гор, продолжали поединок.



Переломились мечи и копья, палицы разлетелись в щепы, доспехи, как простыни, разодрались.

И собрал Караман последние силы, поднял своего врага и бросил его оземь. Шлем упал с головы индийского воина, рассыпались локоны по черной земле, словно лучи солнца.

...Пораженный, разглядывал воина Караман — он узнал в отважном индийце Саври-Хураман: дочь царя. Поднял ее на руки, привел в чувство и отнес в стан врагов своих».

Как же, дорогой читатель, не изумиться? Велики были страсти по «Караманиани» — и вокруг тоже кипели страсти. Волшебную повесть сравнивали с бредом, бессмыслицей. Противопоставляли ей духовную литературу, наши философские трактаты. На мой взгляд, однако, подобное отношение к произведению, которое своим рыцарским духом и живым человеческим содержанием будило возвышенные чувства в людях, погрязших в мелочах неприглядного быта, более чем несправедливо.

Можно ли не любить «Русуданиани»<sup>74</sup> с его яркими красками, живостью описания, добротой чувств:

«...Увидел царевич оленя. Рога у оленя золотые, копыта черные, грудь белая, спина красная. Поднял царевич лук, натянул тетиву звонкую, послал стрелу меткую. Упал олень. Слеза повисла на его длинных ресницах, подозвал он царевича, вздохнул тяжело и говорит: «Зря убил ты меня, царевич, я пришел за тобой, хотел отвезти тебя в яхонтовый город к осиротевшей царевне. Но не печалься, подожди, пока мой дух вознесется на вершины гор, и вырежь мою левую лопатку, она дорогу тебе укажет. Только не веди с собой войска, не твори зла, невинных не убивай, не то не видать тебе ни яхонтового города, ни царевны».

Тонким, легким юмором окрашены любовные сцены в «Похождениях Асли и Кярима»:

«...Пел влюбленный Кярим и украдкой расстегивал платье на своей возлюбленной, и она, зачарованная его пением, готова была отдаться во власть сновидений, томительных, сладких, но лишь умолкал Кярим, застегивались пуговицы на платье Асли, ибо были они волшебные...»

Замечательна по образности, красочности легенда о Кер-оглы. Коня знаменитого персидского разбойника описал бы каждый тбилисец.

«Взгляни, хан, какие ноздри у моего коня, раздует он их, они пламенем пышут, ноги его, как у джейрана, словно стрелы, готовые к полету, губы у него чуткие, как у молодого верблюда, спина у него гибкая, как у зайца, хвост, словно шелк, переливается всеми цветами, змеей извивается, шея по красоте не уступает павлиньей, голова у него ладная и правильная, глаза на спелые яблоки похожи, зубы на алмазы, играет он с ветром, резвится, словно ребенок, копытами бьет о землю. Хозяин знает ему цену. А ты отцу моему из-за него выжог глаза раскаленным железом. Меня зовут Кер-Оглы — сын ослепленного, я и мой конь, жестокий и мерзкий хан, свободны во веки веков. Лови нас, лови!»



На гиперболах и сравнениях построено сказание о Караб-Оглы, «Сказали Караб-Оглы дэвы: «Восковым топором разруби железный чурбан». Опечалился Караб-Оглы, вошел он к своей невестке, жалуясь на свою судьбу. Сказала ему невестка: «Не печалься, я срежу свои волосы и ты заверни в них восковой топор и тогда разрубишь железный чурбан на части». Караб-Оглы так и сделал. Удивились Дэвы и говорят: «Возьми эту чашу, полную воды, и подними ее на дерево, да так, чтобы ни капельки не разлилось». Отвечал Караб-Оглы: «Я выполню и это, только хочу прежде подумать». И вошел Караб-Оглы к невестке. Выслушала она его и говорит: «Не печалься!» Сняла с пальца перстень и протянула ему со словами: «Брось перстень в чашу с водой, и не прольется из нее ни капли...»

Иным ветром веет от «Швидвезириани...»

Женщина — рассказывает одна из новелл «Швидвезириани» — безумно любила своего мужа, и муж души в ней не чаял. Увы, несчастье подстерегает и невинную душу, созданную для любви. Несчастье в семье возлюбленных супругов ждало своего часа, и он пробил. Муж, играя ножом, случайно оцарапал руку жены. Он увидел кровь на ее белых пальцах и заболел от огорчения. Жена ходила за ним, утешала, как могла, но муж не мог простить себе неосторожности, причинившей боль любимому существу. Он лежал в постели и до того горевал, что умер от горя. Безутешная вдова не захотела жить в доме, где все напоминало ей о былом. После похорон она поселилась в заброшенной лачуге близ кладбища. случилось так, что однажды, в день казней, по заведенному обычаю, повесили разбойника, обезображенного пытками, и приставили к виселице солдата, чтобы родные не похитили казненного и не предали его преступные останки святой земле. Ночью сделалась метель, и солдат окоченел от холода. Он почти замерз и готовился перейти в лучший мир, как неожиданно заметил поблизости одинокий огонек. Он побрел на огонек и очутился перед лачугой вдовы. Скорбящая вдова не хотела пускать к себе мужчину, но после долгих просьб сжалась над ним и отворила дверь. Солдат отогрелся, поблагодарил за приют и вернулся на свой пост. Но к великому ужасу своему увидел, что виселица пуста: разбойника успели похитить. Утром вместо казненного вздернут его самого. Не зная, как быть, он решил спросить совета у вдовы. Вдова задумалась и сказала: «Обещай стать моим мужем, и я спасу тебя от смерти».

А надо сказать, эта вдова была недурна собой и понравилась солдату, и потому он с превеликим удовольствием принял ее предложение. Увидев, что радость его неподдельна и он сдержит слово, женщина сказала: «Раскопай могилу моего мужа и повесь его труп вместо разбойника».

Солдат поспешно раскопал свежую могилу, вытащил труп и с помощью женщины отнес его к виселице. Но тут он вспомнил, что у разбойника все зубы были выбиты, и сказал об этом вдове. Женщина выслушала его и, смущаясь, говорит: «Чего же ты смотришь, возьми камень и выбей зубы у этого трупа». Стражник, однако, не двинулся с места. Он считал, что и без того надругался над покойником. Тогда вдова взяла камень и собственно-

ручно выбила зубы своему мертвому мужу, недавно столь ею любимому. Стражник по-прежнему разглядывал труп. Он теперь вспомнил, что у обезображенного пытками преступника был отрезан детородный орган. Он и об этом сообщил вдове. «Я помогу тебе и в этом», — сказала вдова и во мгновение ока отрубила саблей стражника требуемое, после чего мертвеца вздернули на виселицу. Когда же вдова потребовала от солдата выполнить обещание, он выхватил из ножен свою саблю и прогнал женщину прочь со словами: «Ты надругалась над мертвецом, коварная, какой же милости ждать от тебя живому?».

Тбилисцы любили пересказывать прочитанное, а порой и сочинить сказку. Так услышал я сказку про комара:

Собрались насекомые и гады земные и спрашивают друг у друга: чья кровь слаще. Один говорит — вкуснее всего кровь собачья, другие говорят — телячья кровь вкуснее, третьи овечью кровь хвалят. Спорили они, спорили и решили послать комара, чтобы он испробовал кровь всех земных тварей. Перекусал комар весь белый свет. Показалось ему, что кровь человека всех слаще. Возвращается комар обратно, спешит своим собратям новость сообщить. Узнала ласточка, куда комар летит, и проглотила его. Поделом вору и мұка.

Рассказывали про молодую невестку:

Месила молодая невестка тесто на пироги. Мнет его руками, скатывает и опять разминает, думает: «Ну и жизнь у меня — работой да работой. Неприглядная я стала, огрубели мои белые руки, растрепались волосы шелковые». Бросила молодая месить тесто, вымыла руки, взяла гребенку и зеркало. Стоит она, смотрится в зеркало, расчесывает волосы. Застала ее свекровь. Испугалась невестка — съежилась, устыдилась и превратилась она в пеструю птицу и выпорхнула из окна. Только ее и видели...

А вот притча Сулхана Саба Орбелиани в пересказе одного моего знакомого карачохели:

Жил-был человек. И очень любил он золото, и скопил множество золотых монет. Собрал он свои монеты и захоронил в лесу и каждый вечер ходил любоваться своим кладом. Заметил это его сосед, ночью тайком пробрался в лес, выкопал золото и, положив вместо него камень, ушел. На другой день хозяин клада, как обычно, пришел полюбоваться монетами и увидел, что их похитили.

Закричал он, заплакал горько, стал рвать на себе волосы; услышал его причитания человек, укравший золото, подошел и спрашивает:

— Ты почему плачешь, милый человек?

— Горе мне, — отвечал скупердый, — я спрятал золотые монеты, чтобы не потратить их, а кто-то украл золото и положил камень вместо него.

— Стоит ли печалиться, — говорит вор скупцу, — все равно ведь ты не собирався тратить свои монеты, какая же разница, что у тебя спрятано — золото или камень?

Ты не утомился, мой читатель? Нет? Тогда достанем с полки книгу «Балавариани»<sup>75</sup>.

Раскроем наугад:

«...И говорит Балавар Иотасафу:

Жизнь подобна человеку, коего преследовал бешеный слон. И загнал бешеный слон того человека на край бездны, и не было ему дороги никуда. Огляделся он и узрел дерево, и вскарабкался на него.

Взглянул человек вниз и увидел: две мыши — черная и белая — грызут корни дерева. Взглянул человек вниз и увидел бездну, и в бездне чудовище с разинутой пастью; и понял — ждет чудовище, пока он упадет, дабы поглотить его. Тогда посмотрел человек вверх и увидел мед, стекающий с ветвей дерева, и стал вкушать он мед и позабыл об опасности, подстерегающей его.

А мыши изгрызли корни дерева, и упало дерево, и упал человек, и сбросил его бешеный слон в бездну, в пасть чудовища того.

Так вот — бешеный слон есть смерть, преследующая род человеческий; мыши: белая — день, черная — ночь; мед же — сладость жизни, которая есть обман. Дни и ночи соединяют свое — изгрызут корни дерева жизни, упадет оно, и сбросит смерть человека в ненасытную пасть чудовища...»

А «Лейлмеджнуниани»...

Но довольно, довольно — вперед, мой рассказ! Ты и так не слишком строг, читатель, а сколько еще соблазнов на пути! Слава богу, все относится к теме нашей — и как было обойти старинную отечественную библиотеку? А приоткрыл волшебную книгу — и заслушался. Это милое и давнее — сказка и песнь у колыбели твоей. А скажу и так: у колыбели нашего просвещения.

Сколько раз мы еще вспомним эти книги и перечитаем их! И тем больше скажут нам они, чем дальше уйдем мы от них по сужденному всем пути прогресса. И если он, прогресс, прибавит нам ума (в чем я не сомневаюсь, мой читатель), то мы полнее оценим мудрость первоисточка...

Остаюсь у тебя в долгу и прерываю рассказ о книгах. Рад буду, если ты обратишься к ним сам, — но вряд ли в соседнем каталоге среди имен философов и поэтов, просветителей наших, найдешь ты имена, которые я должен тебе назвать. Горный хребет зиждется на обширной подошве, и я забочусь о том, чтобы ты мог угадать, хотя бы отчасти, ее очертания. Вершины и так видны.

Известно ли тебе, что некоторые печатные стихотворные сборники предварял грузинский алфавит?

Полуграмотный старый Тбилиси чтит своих певцов. Он сознавал в стихах себя самого и узнавал новое о мире.

С подношением фруктов в знак вечного благоденствия сравнивали в народе песни Гивишвили, Скандарнова, Иэтима Гурджи, Азира, Ганджискарели, Бечара... Канули в Лету, увы, многие имена. Но талант, явившийся в мир, не пропадает.

Человек давно стал землей, а созданное им продолжает жизнь, пол-

ную дивных преобразений. И где-нибудь таятся еще стихи — другого, неведомого нам Иэтима Гурджи, в свое время переписанные другим, неведомым, и ждут своего часа — как ждет его золотой самородок в медленно и верно размываемой береговой толще. Два-три самородка поднял я, счастливец, но собирал и крупицы, и блестики, и копал там, где чувствовал благодатную жилу.

Нет, я не спешу раздавать фирманы «гордости народной». Я лишь хочу совлечь пелену забвения с имен людей, чье творчество дарило народу свет Знания. Это выходило у них как бы «ненарочно». Заботились они совсем о других вещах, но, как говорил Шекспир, «они шутили и шутя отправляли друг друга» — если под отравой разуметь познания — она для тбилисца была слаще шербета и всех земных благ. Народ с нетерпением ждал новых стихов, их распевали по всему городу, и когда люди впервые видели напечатанными свои любимые стихи, в них загоралось страстное желание прочесть их. Так, сами того не ведая, выполняли поэты города высокую миссию просветителей. Тут и был кстати алфавит перед текстом. Разве одного этого мало, чтобы низко поклониться тбилиским поэтам!

Говорят, как-то Флоберу пришло на ум устроить банкет в честь писателей, замалчиваемых критикой.

Нечто подобное захотелось сделать и мне. Большого труда это не стоило. Никакого особого напряжения мысли не требовало. Отнюдь.

Мое внимание не останавливалось в данном случае на какой-то отдельной личности. Все эти люди, представляется мне, каждый в своем роде выдающийся.

Городская грузинская поэзия нашего века зародилась на ниве поэзии ашугов и приняла в свое лоно мощный ее поток. Новые условия жизни изменили, конечно же, ее формы, она, так сказать, перешла на книжную почву.

Во второй половине XIX века появились такие поэты, как Азира, Скандарнова, Гивишвили...

Об Азире я рассказал уже. Позвольте просить вас уделить внимание Скандарнова и Гивишвили. Они пользовались среди простонародья такой же популярностью, что и Илья и Акакий в просвещенных кругах.

## СКАНДАРНОВА И ГИВИШВИЛИ

Когда умирает знаменитость, о его смерти говорят все. Георгий Скандарнова был знаменитым поэтом. Современники называли его творчество зеркалом и мерой духовной жизни народа. Скандарнова оставил после себя тридцать поэтических сборников. Перечислить их и то интересно:

«Жизнь обжоры. Кутеж пьяниц в Ортачальском саду»;

«Саранча и человекосаранча»;

- «Ответ телавцу Мцкерадзе»\*;  
«Зеркало для флирта и другие новые стихи и песни»;  
«Зурнач. Стихи, песни, сатира из жизни нашего народа»;  
«Маленькая народная муза, сцены, куплеты и недавно пришедшее в голу стихотворение о двоюродном брате»;  
«История трех хлебов, народная сказка-легенда и два народных предания о ненасытности некоторых священников»;  
«Невыдуманные рассказы о страшной войне, трех союзниках, Австро-Венгрии и Сербии-Черногории, а также Турции»;  
«Шутливый волынщик, любопытные стихи о телавской козе и сигнальном осле, а также избранные стихи для флирта. Погибший пароход «Титаник», песни, загадки»  
«Песенник веселого застолья»;  
«Несчастный город, жизнь и приключения спекулянтов»;  
«Знамя единства, новое правительство, или Воскрешение трудового народа»;  
«История лото в грузинском клубе»;  
«Песенник увеселительного стола или ортачальский букет-подношение к столу в знак пожелания благоденствия; интересные для чтения новые стихи, остроумные сатирические куплеты о старых и новых семьях (выходит вторым изданием)»;  
«Открытие Дарданелл и свободное обращение судов союзников»;  
«Певица. Различные любопытные стихи, песни, сатирические куплеты, загадки»;  
«Аллаверды, — яхшиолды, застольная песня и другие развлекательные стихи для пения на мотивы известных русских песен «Суббота» и «В саду я розу посадила»;  
«Ортачальский кутеж, хлеб из закромов Соломона; истинное происшествие, бывшее в Тбилиси в 1870 году»;  
«Любовная лира»;  
«Покорение Трапезунда и поход на Багдад»;  
«Шикаста и баяти кинто Сакула»;  
«Мой музыкальный инструмент, стихи и сатира нового поколения»;  
«Праздничный острослов, смешные и шутливые стихи, песни, куплеты, а также песня с повторными строками на манер телавских песен»;  
«Научное толкование редких слов согласно пророчествам Соломона Мудрого и Ефрема Верды»;  
«Странная история кассы для беременных и рожениц, или Благородный шантаж и афера (во втором издании к содержанию книги добавляется рассказ об удивительном сне Тер-Хиполоза и срочная телеграмма с того света от Мефистофеля Кетеване Рутиашвили)»;  
«Забавные анекдоты моллы Наср-эд-Дина»;  
«Ах глаза, глаза!»;  
«Увеселительный сазандари, или Прекрасная возможность убить время,

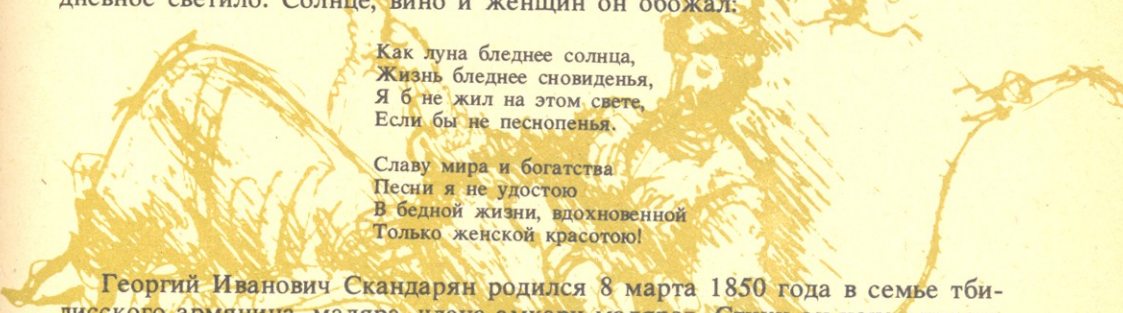
\*Букв. перевод — «Насекомову».



различные старые и новые стихи на мотивы песен старых и новых поэтов».

Вот какие темы переливал в стихи наш поэт, и что удивительного, если за такой энциклопедией охотился весь город? Да, он знаменитый поэт. И он умер, как умирали великие люди: никто не знал, когда и куда унесли наспех сколоченный гроб.

10 апреля 1917 года в Тбилиси ничего особенного не происходило. Солнце светило вовсю, хотя поэт говорил, что умрет в тот день, когда погаснет дневное светило. Солнце, вино и женщин он обожал:



Как луна бледнее солнца,  
Жизнь бледнее сновиденья,  
Я б не жил на этом свете,  
Если бы не песнопенья.

Славу мира и богатства  
Песни я не удостою  
В бедной жизни, вдохновенной  
Только женской красотой!

Георгий Иванович Скандарян родился 8 марта 1850 года в семье тбилисского армянина, маляра, члена амкари маляров. Стихи он начал писать десятилетним мальчиком. Вместе с любовью к Саят-Нова он унаследовал от отца профессию маляра и потому именовал себя «художником», а стихи подписывал звучным именем Скандарнова. В предисловии к одному из стихотворных сборников Скандарнова подчеркнул, что Скандзургалом персы называли Александра Македонского, и читатель может сделать свои выводы, сравнив звучание великого имени с его, Скандарнова, именем.


Стихи он писал на грузинском языке, точнее, напевал их на определенных песенные ритмы и потом переносил на бумагу. Многие из них утеряны. В детстве, помню, в винной лавке я слушал Скандарнова. Он прочел тогда замечательные стихи. Первые строчки глубоко врезались мне в память:

О, листок мой шелковичный,  
Светлокосая Маринэ,  
Я покуда червь ничтожный —  
Спеленай меня покрепче...

Я искал позднее продолжение этих строк, но нигде не нашел. Скандарнова удивительно небрежно относился к своим творениям, хотя ревностно оберегал свою славу и повсюду старался ее утвердить. Все дни он проводил среди базарной толчеи, у знакомых лавочников и духанщиков, сыпал остротами и ухмылялся, довольный, когда его словечки имели успех. Экспромты и крылатые выражения лились из его уст, как вино из кувшина. Любое острое слово приписывалось ему, да и сам он напрашивался на поговорку. Не одна бы к нему пристала, но я обойдусь одним речением: «Горьким смехом моим посмеются».

Он окружил себя собутыльниками, острил, смеялся, озорничал, но прислушивался, казалось, к той тишине, что была в нем. Его веселые выходки странно не вязались с надменным, порой невидящим взглядом и за-

стывшим лицом; неторопливая с завываниями речь мало соответствовала оживленной жестикуляции. А грубые непристойные куплеты и рядом с ними — стихи целомудренные, исполненные великой робости подлинного чувства, будто разными людьми написаны были.



Свет очей — о чем грустишь?  
Гибну я — а ты жива.  
Почему не осветишь  
Темный путь Скандарнова?

То ль глаза мои слепы,  
То ли жизнь моя темна?  
Что тебе твои шипы,  
Если розой рождена?

Распустилась ты едва —  
Я исколот, весь в крови...  
Полюби Скандарнова,  
Погибаю без любви.

«Это хорошо, это очень хорошо, что ты песни сочиняешь,— говорил ему отец, старый маляр,— но придумай что-нибудь такое, что отвратит тебя от пьянства». Скандарнова был иного мнения: «За водкой пойдешь — радость найдешь»,— бормотал он, едва держась на ногах. Страсть к водке,— а может быть, и не она совсем — сделала его семейную жизнь невозможной. Буквально через неделю после свадьбы он прогнал жену, заставив таскальщиков нести ее приданое обратно по тем же улицам, какими принесли. Что касается водки, то она дала повод написать Давиду Ги-вишвили:

По городу шатается  
Известный всем Казар Лантек,  
Воистину пропойца,  
Последний человек.  
А ты, Скандарнова, за ним  
Плетешься предпоследний...

Никто не видел, когда этот человек садился за стол; нельзя было понять: как он успевае прочесть столько, сколько он действительно успевал. Мы видим то, что бросается в глаза.

Честолюбие Скандарнова не имело границ. Он ссорился со всеми, кто осмеливался его критиковать. Поссорился он и со мной. Как-то он перевел анекдоты Ходжи Наср-эд-Дина и составил свое «Научное толкование слов»; оба сборника посвящались мне. Я прочел их и напечатал маленькую рецензию в газете, указав на недостатки стиля и языка Скандарнова. Надо сказать, что популярность Скандарнова была так велика, что простонародье принимало его немой, нечесаный язык за образец. Я посчитал своим долгом опровергнуть это мнение.

Замечания не понравились честолюбивому автору.

«Милые женщины,— писал разобиженный поэт,— радуйтесь, явился певец ваших юбок, юноша со смазливим лицом. Не потому ли, милые

женщины, он решил подражать Белинскому, занялся критикой, вместо того, чтобы писать свои романы, стал распускать сплетни о старом народном поэте. В Харпукском институте получил он свое высокое образование, уж никто ему не нравится».

Затем проза постепенно возвышалась до стихов... Пишут ли так нынче, апеллируют ли к столь могущественному суду?

Во втором послании Скандарнова обращался непосредственно ко мне: «Советую тебе остерегаться меня, не бросать в меня камни, не то такого о тебе нараскажу, из дома носу не высунешь. Ступай, поищи равных себе по уму и делу, какого-нибудь игрока в кости. И чего ради поперся ты в газету, фамилию свою поганить! Разве для того посвятил я тебе книгу, чтобы ты, как собака, лаял и лез кусаться? Ты начал хулить меня, чтобы опозорить перед всем честным народом. Запомни, певец юбок, не прощу тебе твоих мерзостей, дурную болезнь нашлаю на тебя. Не подражай Гивишвили, иначе солому жрать будешь из моих рук...»

Каков старик!

Вы, конечно, заметили, что в послании упоминается Давид Гивишвили. Это современник и литературный противник Скандарнова. Их полемика, длившаяся всю жизнь, полемика особого рода. Она таила в себе настоящую любовь: косвенные и прямые улики — ревность и ненависть — тут были налицо. Друг без друга певцы не обходились, и перед лицом Совершенства один дополнял другого.

Но не будем обделять Давида. Приведем заголовки и его стихотворных сборников:

«Поэт, песни, положение невестки и свекрови, роза и соловей, модницы и другие стихи» (вышли пятью изданиями).

«Райский сад»;

«Дар-подношение» (на свадьбу);

«Сын собственноручно проданный отцом, или Юноша-провидец»;

«Сын миллионера Мирзахана и его завещание, переделка с армянского»;

«Жалоба Мирзахана и другие стихи для чтения»;

«Вол скопца, или Ну что, попало тебе?»;

«На каждый горшок своя крышка, драка невестки и свекрови: Немой слугитель монахов, стихи для чтения и пения, пословицы и меткие выражения:

«Хвала графу Михаилу Таризловичу Лорис-Меликову»;

«В каком же мы положении?»;

«Как царевич воспитывался со львом, или Возвращенный львом»;

«Наш Тбилиси-град и другие стихи»;

«О новых солдатах-воинах, стихи и другие песни»;

«Ради тебя съем жареную курицу».

Основой для последней книги, между прочим, послужила легенда о том, как некий человек решил повеситься в тюрьме. Его друг, узнав об этом, чтобы облегчить ему смерть, зажарил курицу, подмешал яд и отнес в тюрьму. Заключение попросил в последний раз разделить кусок и протянул ему

половину курицы. Друг не сумел ему отказать, и верные друзья вместе с ним являли смерть.

Да, но продолжим:

«Три жулика-пройдохи; муж из-за напрасной ревности душит жену; где тонко — там и рвется; басни и другие загадки»;

«Базар» (всего вышло пять изданий);

«Попугай» (в этой книге переложены на стихи басни «Швидвезери-ани»)».

«Модницы»;

«Разбойник Кер-оглы» (эта поэма вышла в четырех книгах);

«Поединок царя Ираклия с шахом»;

«Чем вдова девственницы лучше»...

Живописный Скандарнова выразил себя в жизни — Гивишвили предпочел слово. Скандарнова размахист — Гивишвили глубок. Скандарнова открыт, уязвим, противоречив — Гивишвили собран. Одинаковой силы темперамент имел у них разный рисунок. Гивишвили владел собой, он был литератор — вот, кажется, и весь секрет. Но поэтами родились оба. В судьбах их много общего, в их творчестве много точек соприкосновения: оба певцы Майдана, оба творили в одно и то же время, обоим постигла почти одинаковая участь: четыре нанятых за полтинник солдата 1 июля 1916 года отнесли гроб Гивишвили на Петропавловское кладбище и опустили его в могилу, и мало кто знал об этом. «Смерть поэта — общественное бедствие», — если бы четыре солдата, врач и священник услышали эти прекрасные слова, они подивились бы, и только.

«Я умру, — писал Гивишвили, — и никто обо мне не заплачет; последнее пристанище будут искать для меня и найдут уголок, позабытый богом и людьми».

Пророчество его сбылось. Какая насмешка судьбы — умереть в неизвестности, когда твои стихи о смерти, твои мадригалы и посвящения умершим весь город читает наизусть:

Обитель дедов и отцов,  
Сырое лоно земляное  
Равняет знатных мертвецов  
И бедных — кровлею одною.

Как дружно все сюда пришли,  
Какая тишина в соборе!  
Отныне в тесноте земли  
Стопнулись вы, о ней не споря.

Вот предок важный. Рядом с ним  
Потомок-нищий приютился,  
И старый мрамор, нехраним,  
Разбит и набок покосился.

Здесь место всем — одно, и честь —  
Одна, и всем — одно богатство.

Народ спокоен, ибо здесь  
Достиг он равенства и братства.



Это одна из тем творчества Гивишвили. Им написаны: «Восхваление покойного Александра Ивановича Манташева», «Стихи о скончавшемся на поле боя И. З. Чолокашвили», «Песня о павшем на поле боя Датико Бебутове», «Стихи о Погосе Матузове, убитом ножом», «Стихи о кончине Иосифа Степановича Алмасова», «Стихи о покойном Якове Абрагуни». Это не значит, что жизнь он любил меньше своего друга Скандарнова.

Смерть настигла Давида Гивишвили за обедом. Он внезапно упал со стула. Кровь пошла горлом. Пока его маленький сын Георгий бегал за врачом, в дом пробрались воры и ограбили умирающего. Сюжет редкий... Было ему от роду шестьдесят шесть лет. Тихий, скромный, уступчивый был он человек, трудолюбивый на редкость, исключительно честный в своем ремесле поэт.

Тот богатством ныне славен,  
Этот — воинской десницей.  
Я ж владею, Гивишвили,  
Только бедною скрипичей.

Слава пестрая земная  
Успокоится в могиле.  
Я умру — оставлю песню,  
И воскреснет Гивишвили.

Давид Соломонович Гивишвили родился 3 ноября 1850 года. Скончался в 1916 году 1 июля. Был он коренной тбилисец, сын старого горожанина, и всегда ходил, как все старые горожане, в просторном, вроде рубахи навыпуск, платье с разрезными рукавами, закинутыми за плечи. Грамоте выучила его мать. Отец отдал маленького Давида учеником в лавку торговца мануфактурой, затем он работал кем-то вроде сборщика податей (стоял на одном из городских мостов и брал положенные две копейки за перегон по мосту скота. Затем его назначили учетчиком в городскую бойню. После бойни справлял должность «базарника», что-то вроде надсмотрщика при рынке и, проработав двадцать пять лет, вышел на пенсию (15 рублей в год).

В последние годы своей жизни открыл маленькую лавчонку, где торговал церковными свечами и книжками своих стихов, написанными истинно грузинским языком. Каждое слово в них правдиво, его темы различны. Его строки — суть его натуры. Он выразил себя полно и окончательно:

Если ты мне первый друг,  
И если я тебе товарищ —  
Я превращусь в послушный трут —  
Ты сталью о кремень ударишь!

И ради дружбы я сгорю,  
И ради друга я истлею,  
И все раздам и раздарю,  
И ничего не пожалею.

Я счастлив радостью твоей,  
Твоей заботою измучен —  
Пусть не имеющий друзей  
Раз навсегда благополучен!

Но если ты мне первый друг,  
Но если я тебе товарищ —  
Скажи — и превращусь я в трут —  
Ты сталью о кремень ударишь...

Какие... обязательные слова — не правда ли, читатель?

Увяла роза — и о ней  
Заплакал соловей.

Не плачь, не плачь; кругом весна,  
Увяла бедная — одна!

Но плачет соловей  
Лишь о единственной своей.

Сад отцветет и облетит,  
Но соловей не улетит —

Умолкнет он. И я  
Заплачу вместо соловья.

Вся Грузия знала стихи Гивишвили. Я обхожу молчанием любовные мотивы в его творчестве. Мне кажется, любовная лира его подражательна и бледна. Другое дело, когда поэт старается осмыслить явления жизни:

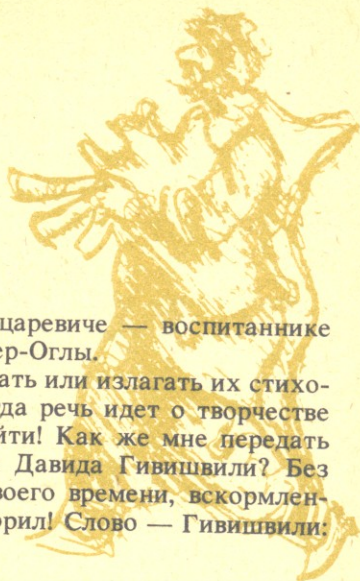
Сказало дерево одно другому:  
— Я вижу человека с топором,  
Он движется сюда тропой знакомой,  
И я дрожу... Как страшно! Мы умрем..  
Ответило другое:  
— Ах, дружище,  
Мал человек, да пострашней, чем зверь,  
Но это мы ему вручили топориче —  
Чего ж роптать теперь?

Во второй половине своего творчества Давид Гивишвили отошел от лирики и обратился к сказочному эпосу, к легендам, которые были близки ему и так или иначе знакомы тбилисцам. Он обработал их, вдохнул в них свою душу, заключив строки в чеканную форму. Он возвращал народу взятое у него. Вот небольшой отрывок — читатель догадается, о чем речь. Размышляет так:

Иракий стар и болен. Голова  
Грузинского вождя бела от пепла  
Прожитых лет. Власть — шелковая петля  
И для властителей. Идет молва,  
Что близок час, и некому возглавить  
Грузин — кому охота в петлю лезть?  
Час пробил — да поможет нам болезнь!

Так думает шах. Но Ираклий посылает к нему посла:

Ответ, коварный, для чего кровавить  
 Нам землю? Мой народ не виноват,  
 Что жаден ты и хочешь новой власти.  
 Испробуем же воинское счастье  
 В единоборстве. Правда, староват  
 Противник твой... Не надо общей сечи!  
 И, уязвленный, на широкий луг  
 Каэн выходит. Архалук  
 Едва накинут на крутые плечи.  
 Ираклий рядом с ним — и стар, и хил...  
 И вдруг на воздух поднял он Каэна  
 И с маху о колено  
 Ударил и хребет ему переломил!



Гивишвили переложил на стихи легенду «О царевиче — воспитаннике льва», новеллы «Швидвезериани», сказание о Кер-Оглы.

Говорят, писать о поэтах — значит переписывать или излагать их стихотворения. Мысль эта тем более справедлива, когда речь идет о творчестве народных поэтов: их книг и в библиотеке не найти! Как же мне передать поэтическое состязание Георгия Скандарнова и Давида Гивишвили? Без пересказа не обойдусь. Полемика двух сынов своего времени, вскормленных грудью матери-города... Впрочем, я уже говорил! Слово — Гивишвили:

Я братом был тебе,  
 Поэты все — родня,  
 И не к лицу с землей  
 Друг друга нам равнять...

После такого, истинно в характере Гивишвили, вступления поэт, казалось, призывает своего собрата к миру. Ан нет! Худой мир не лучше доброй ссоры. И вялого тона фальшивой мировой Гивишвили не выдерживает: «Увы, я и сам мечтал развенчать тебя, но природная вежливость сдерживала порывы. Теперь пеняй на себя, пропивший совесть, советую тебе первым делом выучиться грузинскому языку, иначе люди подумают, что ты кликуша или юридивый. Твои стихи грубы, как помол испорченной мельницы. Что ж, посмотрим — кто кого. И пусть победитель заставит побежденного жрать сухое сено, подвесив торбу к дереву...»

*Скандарнова:* «Пошел град — да на камень! Авлабарский волынщик, или не слышишь — дребезжит твоя волынка, расстроилась, хотя ты, наверное, оглох: больно громко кричишь, разговаривая, — или хочешь кого-нибудь удивить? Издали, когда я вижу тебя в твоём обычном наряде, ты напоминаешь мне хана на Каэноба. И лицо у тебя вроде как сажей вымазано по всем правилам. И вообще ты не успел смыть сажу с рож. Вспомни о своём ремесле; ты — сборщик податей, а мытари, как известно, и на Каэноба были нужны — не они ли народ грабили?! Совершил бы ты обрезание по вере магометовой. Она поистине для тебя сотворена. Ты смеешься надомной, честным мастером, Народным поэтом, хулишь мое слово, язык моих стихов... да я у тебя язык вырву!»

*Гивишвили:* «Я тот град, что и камень дробит! Горлопан городской луженая глотка, храни молчание, не обнажай перед народом своей глупости. Авлабарским волынщиком ты назвал меня, пусть так, и пусть моя волынка расстроилась. Но ее скрипучий звук слаще твоего визгливого голоса. Ты называешь меня мытарем, позабыв, что сам, до того как выучиться на маляра, был обыкновенным торгашом. «Я народный поэт», — похваляешься ты. Мудрец среди дураков, дурак среди мудрецов. Кто избрал тебя народным, жидкомозглый?»

*Скандарнова:* «Если ты, Гивишвили, поэт истинный — отгадай загадку: стояло в пустыне высокое дерево, до самой земли обросло оно листвою, у него было лицо человека. Дерево плодоносило раз в четыре года. Плоды его были горьки, как желчь. Зверь не шел к тому дереву. Птица не свивала гнезда на его ветвях. Ядовитые плоды падали с дерева, когда в мир являлись глупцы и невежды. Отгадай загадку, не сумеешь — ступай в конюшню: живи со скотом...»

Гивишвили оставил это послание без ответа. Ключ к довольно туманной загадке Скандарнова унес с собой в могилу, распустив при жизни слух по базару, что-де под ядовитым деревом подразумевается сам Гивишвили, и понятно, почему он молчит.

Гивишвили злился: «Чего ради, мастер, ты лезешь вон из кожи? Присмотри за собой, не мечись, словно человек, сбившийся с пути. Небось, и загадку выдумал, потому что мысли твои обнищали. Ты напоминаешь мне некоторых ашугов, у которых иссякли слова, и они заунывными бессмысленными звуками морочат головы своим слушателям».

А слушателей у Георгия Скандарнова и Давида Гивишвили было много — целый город. Он, как во время народных игр, делился на два лагеря, и каждый лагерь гордился своим палаваном. Отголоски поэтического спора доносились до провинции. Некий телавский священник написал вдруг целую книгу, приняв сторону Давида Гивишвили. Скандарнова пришлось защищаться, и, как всегда, он защищался, нападая:

*Скандарнова:* «Хотел бы я знать, известно ли тебе, с кем ты осмелился вступить в единоборство? Да покажись ты, не прячь своего лица в навозе, гляди, задохнешься. Из каких ты краев, из какой породы, из длинноухих, верно? Неподкованных... Обжора-поп с войлочной шапкой на голове и свистулькой во рту — ты только и знаешь, что лежать под чинарой, нежить брюхо, набитое разной дрянью».

Полемика такого рода пробуждала в народе страсть к чтению. Да, мой друг. Вся вода — и светлая и мутная — на одну мельницу! Таков был «исторический момент», как выражаются исторические писатели. Но я не смеюсь. У Скандарнова и Гивишвили появились хорошие и плохие последователи — все, кто владел грамотой, подражали им. Нашлись и издатели — естественно.

Книжный рынок день ото дня становился оживленней. Торговцы наперебой предлагали купить: «Мясника Михуа, которого утопили в Куре». «Эту Нину, которая лучше той Нины», «Восхваление верийской Вареньки», «Стихотворный рецепт Шушане Чаипхановой», «Шатер посреди двух





миндальных деревьев», «Куда тебе до Марусиных глаз», или «Не простудись барашек-джан». Многие из авторов этих книжек впоследствии утвердились в литературе, многие, промелькнув, исчезли с ее небосклона, но как бы то ни было, влияние «базарной поэзии» испытывали даже такие поэты, как Димитрий Мачханели и Беглар Ахоспирели.

Я познакомлю вас в нескольких словах с обликом этого замечательного человека — Беглара Ахоспирели.

Как-то на улице встретил он меня и с нескрываемой радостью сообщил, что перевел на грузинский язык пьесу Максима Горького «На дне». Он показывал жестами, как трудно поддавалась она переводу — «ни один из переводчиков Горького не решался на это» — и как много он работал и, не сомневаясь в успехе пьесы, мечтал увидеть ее на грузинской сцене. Это было в 1907 году. Вскоре Ахоспирели, тогда суфлер грузинского театра, тяжело заболел и, не имея никаких других средств к существованию, кроме своей зарплаты, испытывал крайнюю нужду. Тогда актеры решили играть спектакль, сборы с которого пошли бы в пользу их заболевшего товарища. Беглар, на редкость скромный, талантливый человек и поэт, — не могу простить себе, что до сих пор не сумел собрать и издать его стихотворений, — пользовался неизменной любовью не только среди товарищей актеров. Были у него друзья и среди сотрудников тифлиских газет, среди рабочих и ремесленников. Незадолго до премьеры спектакля газета «Амирани» сообщила: «Напомним нашим читателям, что сегодня, четвертого мая, в помещении Артистического общества труппа грузинской драмы показывает пьесу Максима Горького «На дне», переведенную Б. Ахоспирели. Б. Ахоспирели, незаметный, но подлинный труженик нашей сцены, сейчас тяжело болен и крайне нуждается. Поэтому сбор со спектакля пойдет в его пользу. Надеемся, что грузинское общество проявит должный интерес к этой постановке пьесы Горького».

Ахоспирели сыграл значительную роль в движении грузинских разночинцев, издал стихи многих пролетарских поэтов, словом, у него определенная заслуга в развитии грузинской революционной мысли. И такой человек тоже воспитывался на поэзии Скандарнова и Гивишвили.

Грузинская интеллигенция двойко относилась к творчеству поэтов Майдана. Многие тут зависело от чувства юмора — наличия или отсутствия оного. «Мы должны способствовать распространению книг, — писал «Мнатоби», — которые народ читает, ибо главное для нас приучить его к чтению... «Иного мнения придерживалось «Общество по распространению грамотности»: «Важно не только издавать книги — важно издавать хорошие книги, а не такие, как «Не простудись, барашек-джан». Ах фраза! Совершенно как булыжник.

А был он брошен в огород вашего покорного слуги. «Не простудись, барашек-джан» — сборник моих ранних стихов, мои первые шаги в литературе. Эти стихи весьма были популярны и, начиная с 1908 года, выдержали несколько изданий. И хотя впоследствии я ушел далеко вперед и в сторону, сейчас, когда пишутся эти строки, я с удовольствием о них вспоминаю.

1919530  
1919530

Звон вокруг «Барашка» и других таких же сборников докатился до самого Стамбула, до моих соотечественников, проживающих в Турции. В девятисотых, кажется, годах вышла в Стамбуле книга «Букет цветов», в предисловии к которой автор писал: «Во времена сии смутные наводнили город книги пьяных стихоплетов и растлили они разум и душу молодого поколения, и заразили тяжким недугом, дабы отвести его от высоких помыслов служения отечеству. ...Яко лекарство против болей этих, напечатали мы сборник сей...» Далее шли стихи на исторические темы, написанные диким архаичным языком, заканчивающиеся проповедью учения Христового, из чего я вывел, что автор «Букета» — духовное лицо. Мои догадки оправдались. «Букет», понятно, не нашел решительно никакого отклика в сердцах людей, живущих интересами Майдана, и они продолжали со все возрастающим интересом следить за полемикой Скандарнова и Гивишвили. Она текла теперь по новому руслу, каждый из поэтов старался утвердить свой взгляд на вещи. В центре их внимания был щепетильный вопрос о том, кого лучше привести в дом — вдову или девушку, и город разделился на сторонников вдов и девушек.

В девяностых годах интерес к спору двух поэтов ослаб. Впрочем, и сама полемика приобрела характер обыкновенной ссоры. Причину ее мы узнаем из очередного гневного послания в стихах Георгия Скандарнова Давиду Гивишвили.

«Волынщик бедный, немощь вконец одолела тебя. Надпись на могиле жены Ило и то не сумел сочинить. Отвергли ее, заставили тебя вернуть задаток. Опозорили на весь белый свет — перезаказали ее мне. Стоило тебе узнать об этом, как ты чуть не лопнул от злости и ничего другого не мог выдумать, как обозвать меня стариком. Ха! Может, желаешь вызвать меня на кулачный бой? Я готов. Я еще бодр и силен. Расстели семь бурок в ряд, я перепрыгну через них. Дошло до меня, — об этом весь Майдан говорит, — что твоя любовница Макринэ смотрела за тобой, а ты в благодарность напищался, бил ее, заставляя лить горячие слезы. Макринэ жаловалась на тебя, и не простит тебе бог грехов твоих. Говорят, ненависть твоей жены к тебе, пьянице-мужу, была так велика, что она откусила тебе палец и кое-что еще... Очень может быть, потому что ты уже пищишь, как женщина...»

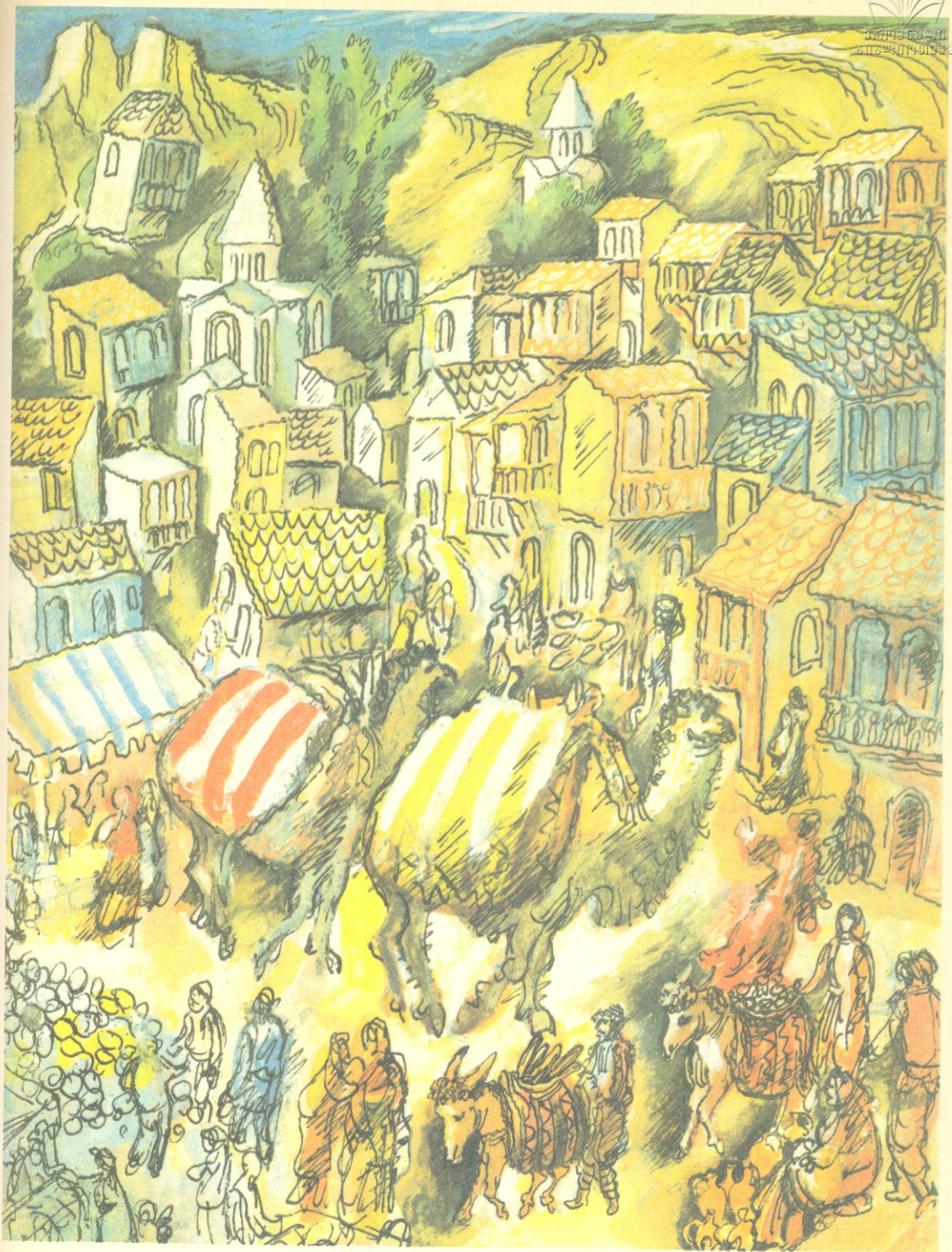
И так далее, и тому подобное.

На этом я прерываю свой рассказ о Скандарнове и Гивишвили. В их творчестве отобразились быт и нравы простонародья. И пусть вам не покажется странным, что пришедшие на смену поэтам Майдана пролетарские поэты начинали свой путь в литературе с подражания им.

## ГРАЖДАНСКИЕ МОТИВЫ

Одряхлели Скандарнова и Гивишвили; доживали они свой век — один — в винных погребках, другой — под навесом маленькой лавки, которая пахла свечами и старыми книгами. Ни один даже хвастовства ради не вызвал бы

საქართველოს  
სამხრეთ-აღმოსავლეთი  
საზღვაო სანაოსნო პორტი



4. Зак. 1935 И. Г. Гришавили, вклейка





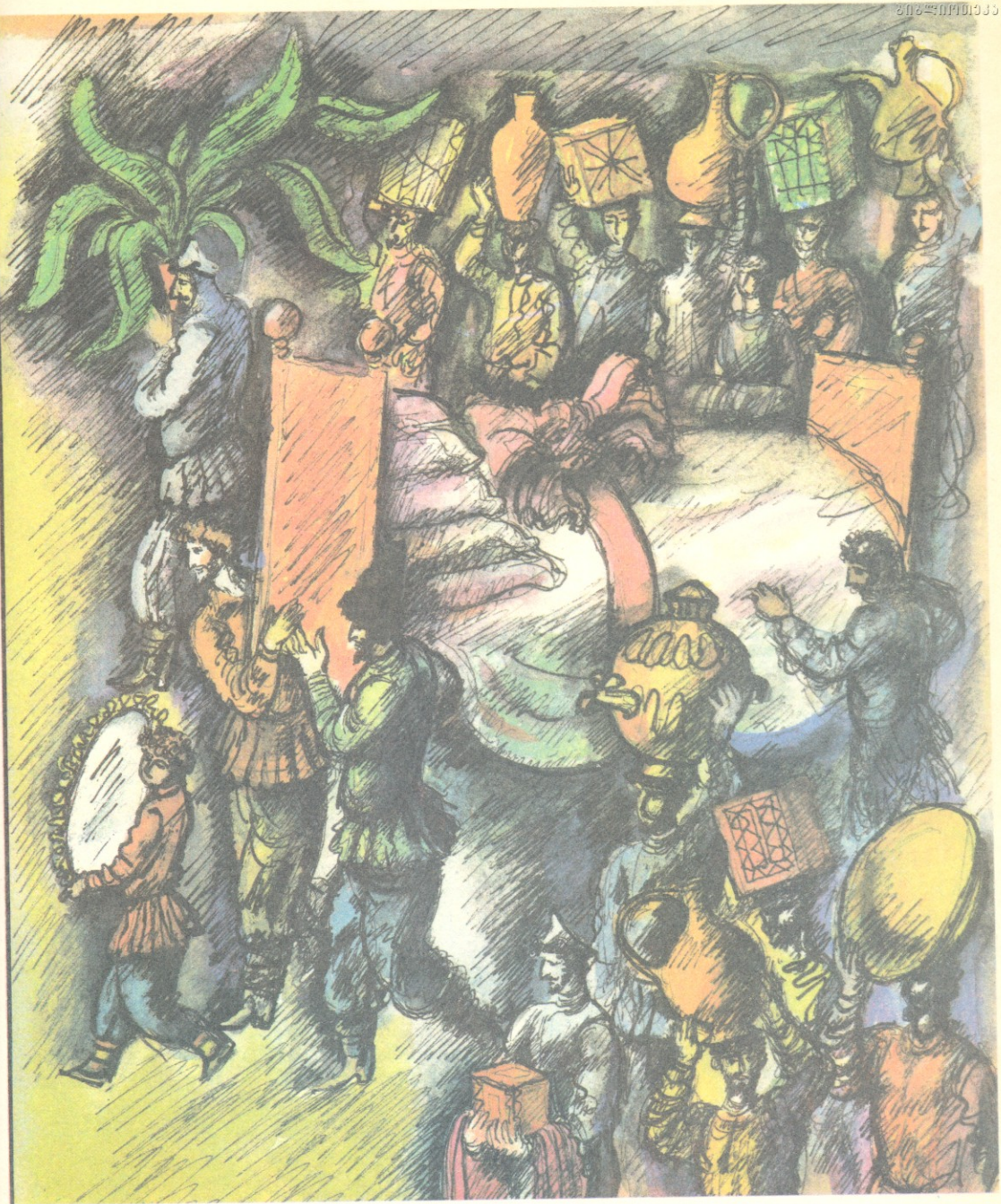
01006030  
0100010035













другого на кулачный бой. Иные пришли времена. Все чаще встречались на Майдане люди в синих блузах — рабочие, и Майдан с любопытством рассматривал «фабричных людей», пока не привык и к ним. Потом пришли люди в сюртуках и непременно с бородкой. Пошел слух, что это — учителя. Они ходят и народ просвещают. Они называли себя «народниками». Многие среди них успели отбыть каторгу. Каторжане, даже бывшие, всегда интересны. Тбилисцы остыли к романтике карачохели, им надоели маленькие мастерские, потянуло на завод, фабрики. И как всегда, жители моего города в мгновение ока приноровились к новому времени, стали истинными детьми его.

Некий Иван Окладский, слесарь железнодорожного депо, агент тифлисской охраны, человек, видно, весьма хитрый, так как сумел стать руководителем революционного кружка, в 1889 году сообщил шефу тбилисских жандармов: «Что же до рабочих, почитаю долгом уведомить вас, что большинство из них — грамотные люди и весьма большое внимание уделяют политической жизни империи. Номера газет, в коих идет речь о политических процессах, они буквально выхватывают из рук друг у друга...»<sup>76</sup>

И здесь я хочу отметить, что азбукой этих «грамотных людей», выхватывавших друг у друга газеты, была та поэзия, тон которой задавали Гивишвили, Скандарнова, Азира... или вам кажутся мои слова преувеличением? Тогда обратимся к документам. Они лежат передо мной. Старейший тбилисский рабочий-революционер Миха Чодришвили пишет: «Хотя я учил и знал азбуку до своего приезда в Тбилиси, но с великим трудом складывал буквы в слова. Вывески лавок и духанов, сборники стихов поэтов Майдана и «Караманиани» были моей школой и моим учителем...»

Портной Нико Итриев, пролетарский поэт, свое воспоминание об Эгнате Ниношвили написал, кажется, в 1893 году, когда настольной книгой грузинских рабочих была «Караманиани»: «И я сам вскормлен ею. Однажды в воскресный день у Александровского сада у торговцев старыми книгами я искал очередную главу «Караманиани», когда встретился мне худой мужчина чуть выше среднего роста. Это был Эгнате Ниношвили<sup>77</sup>. «Видишь, за книгу ты взялся?» — сказал он, положив мне руку на плечо. Я перечислил ему прочитанное мною, начиная с песен Скандарнова. Ниношвили едва заметно улыбнулся, затем повел в книжную лавку и заставил купить «Свет и тьму» и «Как жили люди в старину». Я очень сожалел, что для покупки «Караманиани» у меня денег не осталось»<sup>78</sup>.

Рабочий поэт Шакро Навтлугели писал в автобиографии: «Я не помню, когда и как начал писать, но постараюсь вспомнить». Затем Навтлугели рассказывает о своем детстве, подворье церкви святой Варвары, где молодежь соревновалась друг с другом в искусстве пения, и о некоем дяде Хечо, которому он прочитал первые стихи своего сочинения. Хечо подарил мальчику двугривенный, чтобы он купил книжки и научился писать хорошие стихи. «Я обрадовался, — продолжает Навтлугели, — что труд мой принес первые плоды, и на следующий же день помчался на Авлабар. Я купил книгу Давида Гивишвили и не расставался с ней, пока не выучил всю науку. Иногда я писал стихи, подражая Давиду Гивишвили».

Этих примеров, думается, достаточно. Как эти рабочие поэты обрели место в городской поэзии, утвердили свои взгляды на нее?

Народно-освободительное движение, всколыхнувшее Россию после отмены крепостного права, перекидывалось в Грузию. Пламя борьбы за освобождение личности и народа от социального и национального гнета разгоралось, и отблеск его придал особый колорит образам городской народной поэзии. Явившаяся из недр народной жизни и ставшая частью этой жизни, она, естественно, на редкость чутко реагировала на социальные сдвиги и колебания, и уж, конечно, ее не могли не затронуть такие процессы общественного развития, как борьба с крепостничеством и отмена крепостного права, появление рабочего класса и начало революционного движения.

Городская жизнь второй половины девятнадцатого столетия, несмотря на вековые, казалось бы, незыблемые традиции, претерпевала значительные изменения. Институт амкари разрушался, не выдерживая конкуренции промышленных предприятий. Все меньше становилось учеников у мастера, все больше молодежи шло на заводы и фабрики. Общественный деятель Петрэ Умикашвили, посетивший один из заводов Мирзоева в Ортачалах, писал, что «тбилисская молодежь довольно быстро приноровилась к новым условиям труда, приобрела значительный опыт и мастерство, что, однако, не помешало ей бойкотировать промышленников, требуя от них срочных мер по обеспечению безопасности труда». Забастовки часто кончались жестокими стычками рабочих и полиции. Рабочая неделя не обходилась без несчастных случаев. Михаил Чодришвили вспоминает, что на прядильной фабрике Мирзоева рабочему за станком оторвало руку. Не помню его имени (он был из Харпухи). Он оказался на улице без средств к существованию. Он стал нищим...

Я его помню, я ведь тоже харпухец, Георгия Маркозова, отца Вано Маркозова, актера народного театра. Я знал многих, таких же, как он. Их участь была горька, и мне понятны стихи Иосифа Давиташвили:

Народа горькая судьба —  
Вот мой удел;  
Плач обездоленных людей —  
Вот мой напев.

И я живу, и я умру,  
Не для себя,  
И сердце мне сожжет дотла  
Народный гнев.

Я не буду подробнее рассказывать о растущем революционном движении, марксистских и иных революционных кружках — об этом сегодня каждому известно. Скажу только, что городская народная поэзия второй половины девятнадцатого века была детищем этого движения.

«Неужели картины сегодняшней жизни народа, — писал тбилисский издатель грошовых книжек Захарий Чичинадзе, — недостаточно ясно свидетельствуют, что поэзия Григола Орбелиани, Бесики, Саят-Нова, Алек-

сандра Чавчавадзе, Гвишвили изжила себя, что писать надобно по-другому и о другом...» И хотя Чичинадзе по-прежнему издавал произведения и Орбелиани и Бесики, книжный рынок постепенно завоевывали стихотворные сборники чисто гражданского толка. На Майдан — в иных странах сказали бы на арену — вышли новые поэты — плотники, токари, слесари, сапожники, торговцы, повара, ткачи.

Мне синяя блуза по нраву,  
Немало дорог я прошел —  
Мне сшили ее на забаву,  
Как бегал еще голышом.  
И силу, и синюю блузу  
Сносил я, трудом изнурен,  
Как тряпок ненужный узел  
Хозяин нас вышвырнул вон.

*Шакро Навтлугели, токарь*

\* \* \*

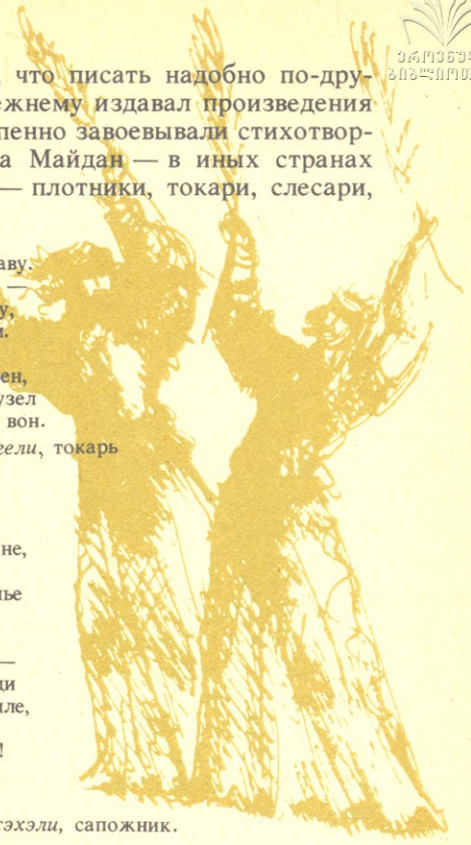
Эй, проснитесь, крестьяне,  
Страхните сон вековой.  
Пусть запылет восстание  
Грузии трудовой!  
Дело идет к расплате,  
Солнце встает во мгле —  
Свободы и братства ради  
Прольется кровь на земле,  
Эй, торопи субботу, —  
Пора воскресенью быть!  
Пора хлеб и свободу  
Детям своим добыть!

*Георгий Шинатэхэли, сапожник.*

\* \* \*

Мы люди черного труда,  
И мы растем, как лес,  
Отвергнем голубую кровь  
Возвышенных небес!  
Ты погляди: моя рука  
В мозолях и узлах,  
И сила спрятана в худых  
Прожилистых маслах.  
Я сын труда — ему пою,  
Я крепко на земле стою  
И с братом ветви рук моих  
И корни перевью.  
Мы — дети общего труда,  
И мы растем, как лес —  
Отвергнем голубую кровь  
Возвышенных небес!

*Изидзе, слесарь.*



Стихи эти в достаточной мере говорят сами за себя. Начинается пора отрицания старых поэтов.

«...Каждый человек, — писал в предисловии к своей первой книжке Иосиф Давиташвили, — знатный, или незнатный, великий или простой смертный, обязан осознать свой общественный долг, разобраться в общественной жизни, различить ее дурные и хорошие стороны, чтобы протянуть руку помощи своему собрату, помочь Родине...» В стихотворении, посвященном Михэилу Гордадзе, он излагает программу «новой жизни»:

И твой и мой пути прямы,  
Мы целого две половины,  
Отменим Я и будем Мы,  
И только Мы как сплав едины!  
У нас и ремесло одно,  
И цех у горна — Мы амкары,  
И слово так раскалено,  
Что искры брызжут от удара...

Жизнь Иосифа была безрадостна и коротка — он прожил тридцать семь лет. Он на собственном опыте убедился, что сила в единстве и даже создал артель плотников. Он всю жизнь работал не покладая рук, воспевал труд и верил в торжество человека труда. Он терпел превратности судьбы и не ведал страха перед жизнью, потому что верил в солнечное завтра.

За Иосифом шли: Михэил Гордадзе — рабочий мыловаренной фабрики; Гиго Хечуашвили — типографский рабочий; Изидзе — слесарь; Георгий Шинатэхэли — сапожник; Шакро Навтлугели — токарь; Нико Ношреванидзе — портной; Александр Баджиашвили — набивальщик папирос; Давид Ниноцминдели — кузнец; Владимир Кирвалидзе — трактирный слуга; Свимон Маисашвили — повар; Лазарэ Майсурадзе — сапожник; Ио Гарсеванишвили — сапожник; Михэил Лелашвили — набивальщик папирос...

Потом...

Потом было еще двадцать пять мастеровых, и все они выпустили в свет по нескольку стихотворных сборников. Они отвергли небеса и сладкозвучные напевы, потому что «когда голоден — все равно: подадут тебе пищу на золоте или обломке черепицы» (М. Чрелашвили); напевность и строгий размер строк они послали ко всем чертям, потому что, «когда дерешься за свою жизнь, — не думаешь о порванном воротничке сорочки» (Давид Ниноцминдели); и, «когда на тебя в упор смотрит враг, тебе нет дела до бархатных глаз газели» (Мих. Лелашвили).

Я назвал этих поэтов «идущими за Иосифом». Они творили одновременно с ним и независимо от него, но ни один не был так свободен от влияния «базарной» поэзии, как он. Ни один не был столь последовательным проповедником народного единения, народной идеологии. Иосиф первым утвердил в поэзии «Мы» вместо «Я» и «Наше» вместо «Мое». Он был из тех, кто, по образному выражению Шио Мгвимели:

На станке рубанком правит дерево кривое,  
Как умелая хозяйка грубый холст утюжит.

Я не хочу сказать всем этим, что Давиташвили — одареннейший среди

своих современников рабочих-поэтов. Его талант был ровен, без особенных взлетов и падений и, может, виной тому его тяжелая, полная лишений недолгая жизнь.

Так или иначе, он — выразитель народных чаяний, его симпатии всецело на стороне людей труда, его творчество — гимн труду и свободе. Справедливости ради скажу, что и он, бивший в одну точку в тот самый «исторический момент», порой сбивался:



Может быть, тебя в столицу  
На худой арбе везли?  
Всю красу твою и прелесть  
По дороге растеряли.  
Твой отец, крестьянин добрый,  
Наполняет бурдюки.  
Если б он тебя увидел,  
Право, умер бы с тоски.  
У тебя ресницы долги,  
Зато юбки коротки,  
За тобою городские  
Так и вьются кобельки.  
Эти люди, эти моды,  
Тебе вовсе не к лицу.  
Подобру да поздорову  
Возвращалась бы к отцу!

Зачем, спрашивается? Но это случай частный.

Городская народная поэзия нового времени, отмеченная всеми признаками национально-освободительного движения, в весьма значительной мере испытала влияние грузинской классической поэзии и, прежде всего, тех же гуманистических и демократических тенденций, которые обновил и утвердил в литературе Давид Гурамишвили. В начале восемнадцатого века в творчестве грузинских писателей усиливаются гражданские, патриотические мотивы и возникают два параллельных направления: первое, созерцательно-чувственное, по-восточному цветастое, ведет от Бесики и Саят-Нова к Григолу Орбелиани, Александру Чавчавадзе и от них — к школе ашугов и к городской поэзии Скандарнова — Гивишвили — Азира; второе же — от отвергнувшего «священные рощи» Давида Гурамишвили к Илье Чавчавадзе и Акакию Церетели.

Высокие гражданские идеалы Давида Гурамишвили, его «земные страсти и желания», его представления о правде, красоте, морали были близки и понятны народу. Его образы стали образами народной поэзии, его афоризмы — частью народной мудрости.

Демократический язык и мотивы стихотворений Акакия Церетели закрепили эти принципы на новой ступени. Темы большинства стихотворений Церетели поселились в душе народа, того самого, простого люда, с кем он жаждал общения, кого пристально разглядывал, над чьей участью мучительно раздумывал. Это сказалось в знаменитом стихотворении «На Эйфелевой башне». Созерцая Париж с высоты птичьего полета, охвачен-



ный священным трепетом, он вдруг увидел лишь контуры безликих крич под которыми люди кажутся призраками.

Именно Акакий Церетели выступил с критикой Григола Орбелиани, этого кумира ашугов. Он опубликовал в девяностых годах ряд стихотворений, в которых открыто призывал к свержению самодержавия. Достаточно сказать, что в 1905 году Церетели перевел на грузинский язык «Интернационал».

Не песни ашугов, не развлекательная поэзия, не проблемы вроде «вдовы и девушки» волнуют город, охваченный пламенем борьбы. Город не знает, что делать с проституцией — это посерьезнее.

Вы меня не зовите блудницей,  
Я у матери честной родилась,  
Не хочу перед вами виниться.  
Не в лесу я глухом заблудилась —  
Среди вас, господа мои, судьи,  
Среди ваших законов дремучих  
В шумном городе — как на безлюдье,  
Посреди вот таких же заблудших.

*Г. Чархишвили*

И сами женщины — не те, что прежде, они — невесты каторжан, они пишут:

Крепись и в кандалах,  
Закованный за правду,  
Гони подальше страх.  
Тюремщиков не радуй.  
Пусть управляет ложь  
И царствует свирепость,  
Но если плох чертеж,  
То ненадежна крепость.  
Ей суждено упасть,  
Так медленно и верно —  
Так погибает власть  
От собственной же скверны.

*Г. Хечуашвили*

Мы не должны забывать, что эти рабочие вели активную революционную работу; вместе с ними стремились к обновлению мира повара, слуги, духанщики — все те, кого мы с тобой, читатель, грешным делом относим порой к низшей касте людей. Теперь уже редко можно было услышать заискивающе-лакейское:

Не надо нам наук и знаний,  
Налей вина — веселье с нами.

Иное стремление завладело их душами, трактирный слуга Васо Кирвалидзе говорит:

Словно горам и долинам  
Свет горячий и щедрый —



Боже, даруй грузинам  
Науку и просвещение,  
Чтоб умножить могли мы  
В мире любовь и братство.  
Так возвращают долины  
Солнечное богатство.

Для повара Свимона Маисашвили любовь и братство — вовсе не такая мировая абстракция. И когда я читаю и перечитываю на память эти стихи, я чувствую дух моего Тбилиси — и старого, и нового. И дух этот — тоже никакая не абстракция. Пар от котла с пловом, синеватый шашлычный дымок — как это нужно городскому пролетарию, его желудку, его прекрасной идеологии:

На угольях, на золе  
Выступает седина.  
Мясо плавает в котле.  
— Добрый вечер, старина!  
— Добрый вечер.  
Суп приправлю,  
Вытру стол, огня прибавлю.  
От угла и до угла  
Той же улицы клочок,  
То же бульканье котла  
И жаровни маячок —  
Каждый вечер,  
Каждый вечер.  
Чем ушедший день отмечен?  
Тем же чадом и жарой,  
Тем же людом без гроша,  
Тем же пеплом и золой...  
Той же сладостью греша,  
Я придумал восемь строчек...  
В этом дне, как в сотне прочих,  
Та же правда и душа.  
— Доброй ночи!  
— Доброй ночи!

Свимон Маисашвили — неграмотный крестьянин, друг своего работодателя Арчила Хведелиани. Тут — классовый мир. Арчил Хведелиани — духанщик, из тех тбилисских духанщиков, что кормили художников и поэтов (даже весьма революционных поэтов). В Тбилиси было немало духанов, вроде чайной «Родина», каваханы «Саят-Нова», закусочной «Гамлет», где устраивались целые поэтические состязания. Помню духанщика Абрагунэ, того самого, который выезжал кутить на четырнадцать фазтонах. Его, беднягу, убил шарманщик, приревновал к своей любовнице. У Абрагунэ кормилась тбилисская богема.

Я поэт, но, увы, как вам ни покажется странным, вино далеко не мой идеал, я не черпаю в нем вдохновения и в данном случае говорю о духанщиках вдвойне беспристрастно. И потом должен сказать, что они сослужили хорошую службу нашей литературе, искусству, нашей революции. В винных погребах устраивались сходки революционеров, духанщики прятали террористов, содержали поэтов революции. Тот же Арчил Хведелиани спас

от голодной смерти Эгнате Ниношвили. Впрочем, и рабочие поэты не оставались в долгу. Когда умер Арчил, журналы «Квали», «Иверия», «Цнобис пурцели» посвятили ему некрологи, а его друзья — рабочие поэты — издали сборник стихов «Доля Арчила». Сапожник А. Гарсеванишвили писал:

Прощай, Арчил, ты беднякам  
Всего Тбилиси другом был.  
Господь прибрал тебя к рукам  
И твой очаг остыл.  
Последнее ты отдавал,  
Тебе простятся все грехи,  
За доброту,  
За твой подвал,  
В котором нищий пировал,  
За наши песни и стихи.  
К тебе ходили мы толпой,  
Как ходят в божий храм, —  
И бог  
Простит меня — ведь он и сам  
К тебе зашел бы, если б мог  
О жизни поболтать с тобой,  
Покинув свой чертог.  
Когда ты мирно опочил  
И весь Тбилиси огорчил,  
Тебя, конечно, унесло  
К его престолу, к облакам —  
Ты расскажи ему, Арчил,  
Про микитана ремесло...  
Прощай, родной, ты беднякам  
Всего Тбилиси другом был!

Искренность этих строк тем более несомненна, что, как правило, рабочие поэты пренебрегали заветом — «мертвые срам не имеют» и не скупились на слово. Доставалось усопшим духанщикам-ростовщикам. Одному из них посвятил «эпитафию» поэт Михэил Гордадзе:

Скончался знатный ростовщик  
И, денег не жалея,  
Надгробье над собой воздвиг —  
Подобье мавзолея.  
Увидев горделивый бюст,  
Представить невозможно,  
Что в жизни грешный этот хлюст  
Выглядел ничтожно.  
Теперь он лаврами увит  
И так глядит, что снова  
Содрать три шкуры норовит  
С народа неживого.

Новая литература изменила и кадры читателей. Каждая книга теперь обсуждалась. Недоброжелательный прием ее порой оказывался действительней самой профессиональной критики. Убогие подражательские стихи были отвергнуты раз и навсегда. Некий Лука Татеишвили, автор написанной руставелевским стихом объемистой поэмы «Любовь», был прозван

автором «Витязем в поросячьей шкуре». Любовная лирика такого рода вызвала резкую критику и самих рабочих поэтов.

Мне жаль поэтов, чьи стихи с душком.  
Мне жаль угодников у времени и нравов.  
Мне жаль ушибленных из-за угла мешком,  
И слишком левых жаль, и слишком правых.

Где их любовь? Их женщины пусты.  
Где музыка? Она давно оглохла.  
Где смысл? Они боятся простоты.  
Где правда? Всё вокруг да около.

Друзья! Поэты! Умоляю вас!  
Дарована вам лампа Аладдина,  
И ваша жизнь — всего лишь Чести час,  
И благородство так необходимо.

*Г. Дзамукашвили*

«Час чести» настал. Труд рабочих поэтов не прошел даром. Развлекательная эротическая поэзия полностью изжила себя. Новые, более глубокие и значительные произведения пришли ей на смену.

Не последнее место среди народной драмы и новеллы занимали переложенные на стихи «Жития святых». Возможно, это покажется кому-нибудь странным, но большинство рабочих поэтов верило в бога. Иной раз забастовщики в присутствии священника клялись на кресте в верности общему делу.

Шакро Навтлугели вспоминает: «...меня увлекали «Жития святых», но под влиянием товарищей я обратился к политике...» Не только этот, «обратившийся к политике» поэт, но и с более цельным мировоззрением, такие как Иродион Эвдошвили обращались в своем творчестве к богу и поклонялись символам веры:

В разбитый храм войди —  
В ту каменную стужу,  
В ту немоту войди,  
Где спят колокола.  
В ту темноту войди,  
Где мир покинул душу.  
Где злобы дух глядит  
Из каждого угла.

Религиозные мотивы в стихах рабочих поэтов, я полагаю, отголосок их тяжелой жизни. На заре освободительного движения они не успевали, да и не успели обрести той идеологической твердости, которая характерна для времени нынешнего. Однако в условиях всеобщего угнетения творчество этих поэтов был, ничем иным, как определенной попыткой разорвать пути черной действительности, и перед этой благородной попыткой современный человек должен склонить голову. Что касается ошибок — то у кого их нет?

## АНТОН ГАНДЖИСКАРЕЛИ

За пробуждением народа последовал жестокий разгул реакции. Часть рабочих арестовали, другую выслали, многие, как говорится, «махнули на себя рукой», многие «повесили головы». Административный надзор и цензура свирепствовали. В России цензуры не избегали даже самые невинные строки:

*Цитата из произведения:*

Ты не удостоишь меня  
Божественной улыбки,  
Ты поняла тайную  
Дрожь моей души...  
Я в единении с тобой  
Хочу познать блаженство...

*Рука цензора:*

Улыбку женщины нельзя называть божественной.  
Запретить, так как речь идет о душе.

Запретить — блаженство познается не в близости с женщиной, но с Евангелием<sup>79</sup>.

Перо цензуры, или, как говорил Иосиф Давиташвили, «их превосходительство красные чернила», уродовало стихи классиков грузинской поэзии. Именно тяжелые цензурные условия вынудили Илью Чавчавадзе приписать свой «счастливый период» итальянскому писателю Джусту. Такого итальянского писателя не существовало.

Все чаще и чаще приходилось писателям прибегать к иносказаниям, поэтическим и прозаическим аллегориям. Тонкое умение обходить цензурные рогатки проявил кровельщик Антон Ганджискарели.

Но позволь перевести дух, мой читатель. Это примелькавшееся и ловкое выражение — «цензурные рогатки» требует горестной паузы. Лукавство во имя правоты — все же лукавство! Этого искусства многие не выдерживают. Средства неузнаваемо меняют цель... И добрые, доверчивые наши поэты, ловкие на слово, пострадали... от самих себя, обманув цензуру. Вот и Ганджискарели Антона постигла эта беда. В стихах видно всё, и страшно за автора: вот-вот он пойдет на поклон к тем, против кого мечет громы и молнии...

Ты человек, и твой удел —  
Родясь на свет, творить добро,  
Но мир стараньями людей  
Устроен так хитро!

Всегда виновен тот, кто прав,  
Всегда оправдан тот,  
Кто, тысячу рублей украв,  
Судье всучил пятьсот.

Мы от рожденья крест несем,  
Стригут нас, как овец,  
И сим, присутствуя при сем,  
Доволен бог-отец.

Вверху престол, внизу престол —  
Порядок идеальный,

Божественный простор  
От молота до наковальни.

Ты вскормлен сладким молоком,  
Ты мал, и глуп, и свят —  
Но вряд ли будешь дураком,  
Когда тебя вспоят  
Или волчищены сосцы,  
Или змеиные резцы.

Ты будешь умного умней —  
Не раззевай же рот —  
Жизнь кувырком идет — и в ней  
Все наоборот.

Так что же — плакать ей в подол  
И век пускать слезу?  
Вверху — божественный престол,  
И царский трон — внизу.

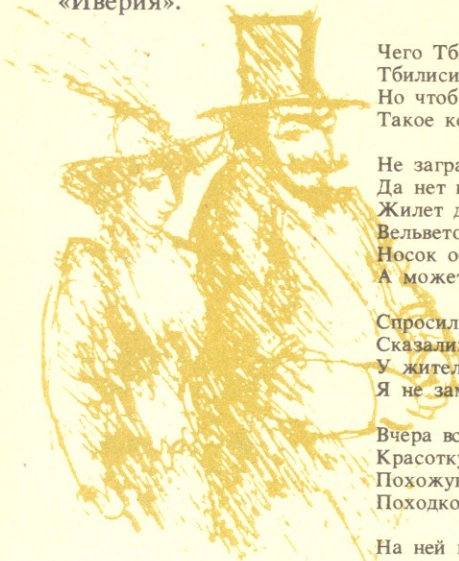
Если Ганджискарели сравнительно легко одолел задачу и в последних строках выразил тот лозунг, ради которого это стихотворение писалось\*, то Изидзе потребовалось обратиться к целым поэмам со сказочным сюжетом. Одну за другой он печатает поэмы: «Сила любви», «Народный герой», «Каменотес» (действие «Каменотеса» происходит в Японии; «Сила любви» преподносится читателю как перевод с французского). И эти три поэмы опубликованы, в принципе, ради слов: «Царь может поработить народы и править страной, но над чувствами ему не властвовать. Долой государя, да разрушится трон его, нужна нам народная власть, ибо власть стоит над народом». Понятно, что к чему, но в чем виноват перед Изидзе японский микадо или один из свергнутых Людовиков? Если Азира был прям, то и угодил в тюрьму за художественное совершенство стихов. А муза лукавая вела совсем не туда; великие цели зачастую кончаются житейским преуспеянием.

Антон Ганджискарели, не в пример другим рабочим поэтам, довольно часто публикует свои произведения. Его книги «Моя свирель», «Смотри на меня», «Я карманщик», «Виновато просвещение», «Падшая семья», «В ожидании рассвета», «Миг блаженства», «Богатые воры», «Татарские и грузинские песни», «Записная книжка декадента» пользуются неизменным успехом среди простонародья. Между прочим, «Записная книжка декадента» имеет следующий пространный эпиграф:

Соль не скиснет,  
Рак не свистнет,  
И терновник не родит  
Виноградной кисти.  
Не блестит алмаз толченый,  
Корень дерева крученный  
Молотком не распрямишь,  
Дурака не вразумишь.  
Не отмоешь добела  
Черного кобеля.

\* Игра слов: д з и р с — по-грузински «вниз» и «долой».

Уже четверть века Антон пишет стихи. Он наблюдателен на редкость. Злободневные вопросы городской жизни — основная тема его поэзии. Его имя достаточно хорошо известно в нашей литературе. Его стихи печатала «Иверия».



Чего Тбилиси не видал?  
Тбилиси видел все.  
Но чтоб на голову надеть  
Такое колесо!

Не заграничный ли кинто?  
Да нет их за границей.  
Жилет длиннее, чем пальто —  
Вельветовый лоснится.  
Носок обрублен у штиблет.  
А может, сумасшедший? Нет...

Спросил одних, спросил других,  
Сказали: декадент... Привет!  
У жителя Олимпа  
Я не заметил нимба.

Вчера встречаю поутру  
Красотку на мосту,  
Похожую на кенгуру  
Походкой за версту.

На ней малиновый берет  
И рыжая лиса,  
У ней затянута в корсет  
Семипудовая краса.

Назад — ей-господи, не вру —  
Коленки! Точно! Кенгуру!  
И пояс на боках тугих —  
Салатовая лента.  
Спросил одних, спросил других —  
Сказали: декадентка.

Тогда спросил я сам себя:  
А что сказал бы дед,  
Когда б ему попался  
Грузинский декадент?

Старик он был суровый —  
Дубину взял бы он,  
Словесности изящной  
Нанес бы он большой урон.

Ничего не выдумывая, не напрягая «гражданского чувства», он пишет сочным народным языком; его словарь богат. Жанровая поэзия и демократические тенденции, естественные в ней, выдвинули его в первые ряды народных поэтов. Иродион Эвдошвили посвятил Антону стихи, написанные как бы от его имени.

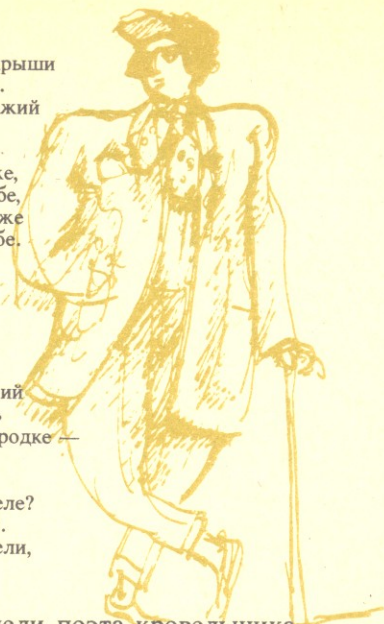
На скате жаркой крыши  
 Меня ты поддержи...  
 Тбилиси сверху рыжий  
 От сурика и ржи.

О господи мой боже,  
 Я ближе всех к тебе,  
 И сам я рыжий тоже  
 По всей моей судьбе.

Чердачное окошко,  
 И желоб на краю.  
 Железную одежду  
 Тифлису я крою.

Я нрав имею кроткий  
 И жарюсь и пекусь  
 Весь день на сковородке —  
 Не утка и не гусь.

А кто я в самом деле?  
 Не знаю, хоть убей.  
 Антон Ганджискарели,  
 Поющий воробей.



Надеюсь, эти шуточные слова не обидели поэта-кровельщика.

...Антону Ганджискарели всегда удается легко и образно выразить мысль, но, к сожалению, коротких стихов у него мало. Они намеренно растянуты, и эту растянутость следует отнести за счет известных условий: рабочие-поэты свои произведения большей частью печатали отдельными книгами; двери редакций не очень уж охотно открывались перед ними. Для отдельного же издания стихи должны были быть хотя бы «в одну форму» (16 страниц), а это вынуждало их растягивать стихотворения.

Ганджискарели с первого же своего выступления стал популярным. Его ценили за добрую иронию, за искренность — и прощали невольные срывы голоса, когда он «форсировал», так сказать, благоую тенденцию.

Первое время Ганджискарели под влиянием Гивишвили и Скандарнова писал любовные стихи, но вскоре порвал со своими учителями и пустился в обличение взяточничества, невежества, грубости сильных, бесправия, непрочности семейных отношений. Сатирическая муза ему изменяла, но он оставался ей верен, и верность вознаграждалась...

Мой муж — хороший глупый муж,  
 Урод, а я красавица.  
 И то, что мне положено,  
 Ему не полагается.  
 Я обниму его — он рад,  
 Побью его — так рад вдвойне.  
 Вот дурень, господи прости,  
 Еще достался мне!  
 За полночь прихожу домой —  
 И благоверный олух мой  
 Мне открывает двери...  
 У, сонная тетеря!  
 Глупеет он день ото дня —

Такой уж мне достался...  
Хоть раз меня — вот размазня —  
Побить бы догадался!

Память Антона как бы вбирает в себя самые разнообразные случаи из жизни, чтобы насадить их на острие своего пера.

Проживал в Тбилиси некий Эшна, который, по бедности, воровал. И вот достаточно было арестовать двух миллионеров за хищение государственно-го имущества — Адельханова и Милова, чтобы наш поэт тот же час вспомнил Эшну.

Где теперь блаженный Эшна,  
Дядя Эшна брадобрей?  
Жил он просто и безгрешно —  
Я не знал души добрей.

И голодный, и веселый,  
Презирал старик нытье —  
Полупьяный, полуголый  
Он хвалил свое житье.

Протянув неделю скудно,  
К воскресенью воскресал.  
В понедельник думал смутно,  
Голову чесал.

Он в унынье повергался  
От сердечной доброты,  
Он как праведник ругался  
От житейской нищеты:

Унижение и мука —  
Сердцу трудно уместить —  
Угостить захочешь друга —  
И не можешь угостить!

Справедливо  
Понемногу,  
Как угодно было богу,  
Он не то чтоб воровал —  
Брал — свое — как отдавал!  
Недовольных и обритых  
Гнал метлою за порог..

От воришек именитых,  
Эшна, Эшна, видит бог,  
Гнусной бедностью гоним,  
Ты отличен перед ним.

Ловкачи миллионеры,  
Жулики большой руки —  
Малодушны и мелки.  
Знать не знают нашей веры!  
Ты же, Эшна, там и здесь  
Знаешь правду,  
Знаешь честь.





Талант Антона Ганджискарели искрится юмором. Его ирония, повто-  
ряю, добра, иногда печальна. Антон из той плеяды счастливых поэтов,  
чьи произведения отмечены хорошим вкусом, чьи стихи надолго врезаются  
в память.

Кому время, кому век,  
Кому времячко,  
У растяп, эх, растяп,  
На текучем чердаке,  
Где чужак на чужаке,  
Слышно: кап-кап-кап —  
Прямо в темячко!

У чужой трубы погрейся,  
На спасителя надейся.  
Кому мед, кому икра,  
Мне ж, Антону, — та-ра-ра —  
Мне, Антону — два ведра  
Слезынок господних.  
Есть одна у чердака,  
Одна лесенка,  
У Антона — чужака —  
Одна песенка.

## ИЭТИМ ГУРДЖИ

Прославленный исследователь словесности нашей Вахтанг Котэтишви-  
ли сравнил его с художником Нико Пиросмани. Сравнение верное во всех  
отношениях: оба они явились из недр одного города, оба сызмальства испи-  
ли полную чашу страданий, оба разукрашивали стены духанов и погребов  
за глиняную миску горячего бараньего супа и бутылку вина и, наконец, твор-  
чество обоих излучает свет, тепло и радость. «Бедный Никала» рисовал на  
прокопченных стенах духанов изумительные картины. Иэтим писал —  
в этих стенах. Нико писал на одной стороне клеенки — Иэтим на другой:

Плохой кредит — друзьям вредит...

Дом Иэтима Гурджи там, где его застанет ночь. Он выходит из духана,  
накинув на плечи бурку, и — пошел куда глаза глядят. А глядят они во  
мрак, а во мраке еще духан светится.

Герой песен Григола Орбелиани, завернувшись в бурку, лежит под ок-  
нами «улады своего сердца», чтобы мельком увидеть ее «нежную тень».  
Возлюбленная Иэтима, какая-нибудь «Орхида» — винная лавка, спозаран-  
ку он уже там: усядется за стол, прочитает друзьям новые стихи, запьет их  
вином и прикорнет за стойкой; проспится и пошел дальше, к другой  
«Орхиде».

Воистину как сказал Паоло Яшвили в своем экспромте, ему посвящен-  
ном:

Улица — мой дом,  
И постель мягка мне  
На булыжном камне,  
Под чужим окном.

Но почему? Ведь у Гурджи есть жилище — квартира на Авлабаре, куда он месяцами не навещается. Окна его комнаты заклеены бумагой с надписью: «Иэтим Гурджи», начертанной грузинским, армянским, латинским и русским алфавитом.

Иэтим Гурджи по-персидски означает сирота-грузин. Осиротел он рано. Его отец — бедный кожевник, умер, мать вышла замуж, и мальчик остался один на один с жизнью. Школы он в глаза не видел. Читать выучился по надписям на продуктовой таре. Иэтим — потомственный харпухец (родился в 1875 году). Единственное его богатство заключалось в прекрасном слухе и умении петь. Его непременно приглашали на свадьбы, где он исполнял песни ашугов и стихи городских поэтов, и там на свадьбах он начал постепенно разнообразить репертуар стихами своего сочинения или, как говорили у нас в Тбилиси, «начал вытягивать песни из собственной головы». Популярность его росла из года в год.

- Иэтим Гурджи идет, — завидев его, шептались люди.
- Иэтим Гурджи поет.
- Это голос Иэтима Гурджи.
- Я видел Иэтима Гурджи.
- Иэтим Гурджи кутил.

Так повелось, что поэты начинают свой путь в литературу с произведений малых форм. Иэтим Гурджи в данном случае — исключение. Он дебютировал поэмой «Анабаджи». Герой поэмы — женщина легендарной физической силы. Воины побратались с ней за ее отвагу и храбрость и прозвали ее «Анабаджи» (сестра Анна).

Хороша собой невеста Махатская,  
Силой воинской Ростому подобная.  
Лик сияет, как луна в полнолунне,  
Очи длинные, на подбородке родинка.  
По спине до пят коса дивная,  
Как река — река ночная черноводная,  
А что грудь — так покруче Ростомовой!  
В ратном поле под стать нет ей витязя,  
Буйвол ярый при ней — как ягненок.

.....

Такова была «невеста Махатская». Существуют у нас и безымянные стихи об Анабаджи. Они мало кому известны, и я приведу их здесь:

Пусть сойдутся все ашуги,  
Пусть берет, кто может, в руки  
Чианури и дудуки,  
И, как буря, грянут звуки  
Тари, бубна и зурны —  
Пусть играют неустанно  
Громче ветра-урагана —

Против славы Гурджистана,  
Против славы Баджи-Анны  
Эти громы не сильны!  
Анны доблести известны,  
Анны прелести небесны,  
Ей одежды слишком тесны —  
Перед нею легковесны  
Все красавицы страны.  
Силу вражью в поле диком  
Устрашает гневным ликом,  
Сокрушает грозным криком  
И рассеивает мигом  
На четыре стороны.  
Анабаджи, дева силы,  
Ты красой меня сразила,  
Дар царя и честь грузина,  
Меч мне в сердце погрузила,  
Как в жемчужные ножи.  
Наяву ты стала сниться.  
За любовь твою, орлица,  
Как Саят-Нова, сразиться  
Я готов — я тоже рыцарь  
Чианури и зурны...

Что же касается изтимовой Анны, то она предстает в поэме как палаван — кулачный боец. Поэма слобрена шуткой; сам автор будто пробует силу своих слов, уподобляя музу свою девственной богатырше, буйные, роскошные стихи этой поэмы назвать можно и патриотическими, но это уж забота критиков.

Для чего явилась дева Махатская,  
Красным шелковым шарфом перетянутая?  
Целоваться с Барбарели Сосией,  
Обниматься с Телетским Георгием?  
Не для этого бойцы на кругу сошлись.  
Пошутить хотел Георгий, на носочки встал.  
Как встал — так и лег, все только ахнули.  
Но куда сбежал могучий Сосия —  
Завертелся волчком — с той поры оглох.  
Возмутился Софромуки — славный был боец —  
Из толпы перед Анною выскочил.  
Тут и грека невеста Махатская  
Как арбуз в толпу перекинула.  
Победила ты, невеста, двадцать мужей —  
Твоему мы девству поклонимся.

Образ женщины, борца за свободу, разработан в ряде грузинских народных драм и легенд — «Майя Цхнетели», «Тина Цавкисели», «Тамро Вашлованели».

...Поэтическое шествие Гурджи началось в 1895 году, но апогея своей славы он достиг лишь в последние годы творчества. Как-то он сказал мне: «Мои стихи знает младенец в колыбели». Так оно и было. Сегодня в среде простонародья Иэтим самый знаменитый поэт из всех бывших и здравствующих. И это понятно. Его стихи написаны живым разговорным языком

горожанина. Его мелодии народны, как народна и форма стиха. Меня оза-  
рывают его диалоги, его искренность, порой наивная, его тбилисский  
темперамент и самозабвение. Он пишет — «гибну, словно Руставели»;  
ему некому жаловаться, кроме Руставели и Саят-Нова, и это никакая не  
претензия — это крик о помощи. А кто поможет? «Где могила Шота?  
Я хочу пожаловаться ему на судьбу свою».

Персидская поэзия в значительной мере повлияла на его творчество, но  
еще большее влияние оказала на него тбилисская городская поэзия. Он  
словно перекладывал ее и брал как свое все лучшее в ней. Она же — будто  
ждала Иэтима, как недовершенное изделие ждет мастера.

### *Иэтим Гурджи:*

Хотя бы превратился я в четки,  
Которыми играют твои хрустальные пальцы.  
Или стал бы метлой,  
Я бы выметал пыль перед твоими ногами!  
Хотя бы случилось так, чтобы я  
Стал перстнем на твоём пальце  
И никто не сумел бы его снять.  
Или тахтой, на которой ты возлежишь и спишь,  
Или превратился в муху на лице твоём чудесном.  
Был бы я счастлив,  
Если я считался бы ложкой  
И твои красивые пальцы  
Во время обеда меня бы держали,  
Или был бы я какой-либо вещью,  
Или ключом от дома обитал бы в твоём кармане.  
(Перевод подстрочный)

### *Народное:*

Хотя бы превратился я в серебряную чашу,  
Чтобы я наполнился красным вином,  
Ты меня выпила бы на здоровье.  
Или стал бы я серебряным наперстком,  
И ты бы на палец его надела.  
Или стал бы травой твоего сердца,  
И ноги твои, как трава, обвивал!  
Или был бы волоском твоим,  
Или ниткой твоей иглы,  
Или был бы перхотью твоей,  
Чтобы сесть на твои ресницы.  
Или стал бы розой-цветком,  
Осыпающим твоё лицо,  
Или батистовой сорочкой  
Грудь твою обволок,  
Или желаньем сердца твоего.  
.....  
(Перевод подстрочный)

Его творчеству не чужды политические мотивы:

Эй, дорогой, протри глаза:  
Дальше по-старому жить нельзя.



Если просел мост гнилой —  
Поздно чинить. Старье долой!

Эти стихи Иэтим прочел на собрании рабочих в Баку, в Баилловском театре в 1905 году, где в то время работал на нефтяных промыслах.

Тогда же, 17 октября 1905 года, на один из митингов Иэтим вышел со знаменем в руках, на котором было написано: «Радуюсь, но не верю!»

После победы реакции Иэтима Гурджи вместе с другими рабочими арестовали, выслали в Волынскую губернию и заключили в тюрьму Дубно. В тюрьме он провел четыре года. Затем его перевели в город Кременск, в исправительно-арестантский отряд. В 1912 году освободили, но жить на родине не разрешили... Его мучениям положила конец революция. Воспламененный и восхищенный огнем свободы, он вернулся на родину.

Недавно он передал мне заявление в стихах на имя Союза писателей:

Друзья мои, ваш Иэтим,  
Сын грузинской матери,  
Просит записать его  
В грузинские писатели.

Он сочинял свои стихи  
По праву первородства.  
Ему наскучили долги  
И долгое сиротство.

Его старушка муза  
Чего-то заскучала  
Без вашего Союза,  
Без вашего причала.

Он сперва спел мне это стихотворение, а потом торжественно вручил. Пел он по-прежнему хорошо, самозабвенно, весело и вместе с тем грустно.

*Стихи Иэтима Гурджи*

Этот стих неисчерпаем,  
Потому что он — душа.  
Речь поэта драгоценна —  
Жизнь не стоит ни гроша.  
Что захочет, то услышит  
В утешенье человек.

Потому Гурджи за песней  
Коротает скушный век.  
Я сплетен из плоти зыбкой  
Грешен я и уязвим —  
Только здесь, как отблеск божий,  
Негасим, неуловим...

\* \* \*

Мы лишь гости этой жизни —  
Мы с утра едва проснулись,  
А за полдень засыпаем.  
О, любимая, тобою

Как Саят-Нова, я брошен.  
Я умру — ты оставайся.  
Только ревность, только ревность  
Мне не даст уснуть глубоко...

\* \* \*

Не печалься, Гурджи,  
Со слезами своими дружи,  
Пока слезы идут.  
Проклинают тебя

Или благословляют тебя —  
Только слезы тебя, Иэтим,  
Не обманут  
И не предадут.

\* \* \*

Глаза твои — синее небо,  
А брови — ласточка мелькнула,  
А волосы — как дождь сквозь солнце,  
А вся ты — как моя слеза.

Будь верным ангелом хранима.  
Благословенье Иэтима  
Прими — и стороною сердца  
Пройди, как синяя гроза.

\* \* \*

Эдема светлого пчела,  
Ты собираешь мед любви.  
Пока твой день — живи, живи,  
Так слабы крылышки твои!  
Тебя увижу и молчу,  
Я только одного хочу:  
Смиренной теплиться свечой  
Перед иконой — пред тобой,

Но эта бархатная мгла  
И твой рубин и бирюза  
Уже на очи мне легла  
Крестом трефового туза.  
Бог знает, что я бормочу,  
Какой-то вздор мелю, мелю...  
О, невозможно мне сказать,  
Что я тебя люблю!

\* \* \*

Я твой чернец, мой бог, мой свет!  
Пропал Иэтим, Иэтима нет!  
Я за столом сижу и пью,  
Но я псалом тебе пою,  
Ты отравила жизнь мою!  
Аллилуйя!  
О свете мой, какая тьма!  
Не веришь — погляди сама!  
Иэтим Иэтиму злейший враг —

Наполовину он дурак,  
Наполовину гений,

Когда мелькает яркий мрак  
Солнечных затмений —  
И только ты одна светла —  
Пропал Иэтим, сгорел дотла!  
Тебе вся слава и хвала —  
Аллилуйя!

\* \* \*

Человек, люби равно  
И грузина, и еврея,  
Ибо мы живем, старея,  
И на всех на нас на грешных  
Смерть глядит давным-давно  
Парой глаз кромешных.  
Человек, люби равно  
Армянина, осетина.

Если бы любить друг друга  
И беречь мы не могли —  
Верь пророку Иэтиму —  
Нас бы сбрило, как щетину,  
Опалило, как щетину,  
Как презренную щетину,  
Прочь с лица земли!

\* \* \*

Если предка колыбель  
Ты сожжешь — ты мне не сын.  
Обогни отца могилу,  
Перепахивая клин.  
Если обесчестил род —  
Пусть твой сад искоренится,

И охрипнет соловей,  
И вороной обратится!  
Будущего не увидит,  
Кто прошедшее сотрет.  
Если бога позабудет —  
Лучше пусть Гурджи умрет!

\* \* \*

Что с тобой, Иэтим бедняга?  
От похмелья ты опух,  
Глаз не видит, ухо правое  
Повисло, как лопух.

Ты в который раз надумал  
Решетом Куру просеять,  
На большом ветру проветять  
Индюшачий пух!

\* \* \*

Долго, долго ты живешь  
В сердце у меня — а все ж  
Ты там постоялец.  
Долго где-то стороной  
Ходит-бродит мне родной  
Странник и скиталец.  
Целованием креста,  
Всуде именем Христа  
Ты живешь — не тужишь,  
Никому не служишь,  
Кто твой бог и что твой свет —

Иисус ли? Магомет?  
Я у Господа Христа  
Сам такой же сирота...  
Рыбу на песке ловлю,  
Бедного тебя люблю.  
Солью-камнем крою кровлю,  
Господи, пресветлым днем  
Ощупью — твоим путем  
Пробираюсь, — но ни в чем  
Я тебе не прекословлю.

\* \* \*

Вы, прекрасные красотки,  
Уважаете духи —  
Я хочу, чтоб пахла потом  
И работали стихи.  
Вы, прекрасные стрекозки,  
Недостаточно грубы...

Я люблю ладонь-подошву  
И мозоли, как грибы.  
Ну, пока, мои котятки,  
Я серьезно говорю:  
Дело есть — я вам отныне  
Бездедушек не дарю.

\* \* \*

Нет, ты только посмотри —  
Ничего не говори —  
Свет остался — свет зари  
Отуманил эти кисти!  
Чудо, чудо, Иэтим —  
Розовая поволока...  
Может быть, еще до срока  
Оборвется путь унылый,  
И осенний этот милый

Ясный день невозвратим.  
Я трудился бога ради —  
Сохрани ж мои тетради,  
Сохрани меня, Тбилиси, —  
Весь на мне твой сладкий дым,  
Как заря на винограде.  
На морщинах поздней кисти...  
Сохрани меня, Тбилиси —  
Старым, сильным, молодым!

\* \* \*

Я веселье рассыпаю,  
Пожинаю грусть.  
Говорят, любовь — слепая.  
Ну, слепая!  
Ну и пусть!  
Я слепец — твой собеседник,  
Потому что я певец,

Стран чужих и стран соседних  
Я не знаю — я певец!  
У народов я посредник,  
Потому что я — певец,  
У любви я исповедник  
Потому что я — певец.  
И певцов прямой наследник,  
Наконец!

\* \* \*

Перекупщики с товаром,  
Слава вашему старью!  
Что хочу, беру я даром —  
Даром отдаю.  
То ругаясь, то зевая,  
Ходит занятый народ —  
Никого не зазываю.  
А ко мне душа живая

Забредет? Не забредет?  
Запишу тебя я в святцы.  
Ты мне друг и ты мне брат —  
Потому Иэтим богат:  
Знает он, куда податься,  
Стоит пальцем в книгу ткнуть —  
И пошел — куда-нибудь!

## И последнее стихотворение:

\* \* \*

Я дома — я живой! О город милый,  
Я как слепой — когда увидит свет.  
Ты весь передо мной, и все — как было —  
И я лишь постарел на двадцать лет.  
О город мой, как сохнет кровь в неволе,  
Как погибает сердце — день за днем,  
И нет ему ни радости, ни боли,  
И скорбь сама перегорает в нем!  
О город, ты подвинулся поближе,  
Поплыл — ты в зелени — и ты в снегу...  
Тбилиси, милый... ничего не вижу —  
Тбилиси, плакать я еще могу.

Мне это — снилось: горы, бездна света,  
И ты — внизу. И колокол большой  
Меня будил средь ночи... Только это  
Не стоит памяти, не стоит, милый мой.  
Мне остается мало. Знаю, знаю...  
С тобой встречаюсь я? Прощаюсь я?  
Твой чад, и пыль, и дым, и речь родная —  
Дыхание твое, душа твоя —  
Пусть будет все — и будет все сначала!  
И, как своей любовью Изтим —  
Пускай тебя хранят обломки Нарикалы,  
Хранит Мтацминда — именем святым!

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Говорят, Антона Павловича Чехова как-то посетили дамы. Они вошли, наполнив комнату шелестом платьев, ароматом розовой воды и оживлением, и уселись в креслах напротив хозяина, улыбаясь и наслаждаясь его смущением — кого не смутят милые дамы.

— Антон Павлович, — обратилась к нему одна из них, — чем, по-вашему, кончится война?

— В-вероятно, м-миром, — заикаясь, ответил Чехов — этого вопроса он решительно не ожидал.

— Разумеется, миром, — живо возразила другая дама, — но кто победит?

— Я думаю, сильнейший.

— А вы сами на чьей стороне, кого вы больше любите, турок или греков?

Антон Павлович, должно быть, вконец растерявшись, потер пенсне — и виновато улыбаясь, ответил:

— Я ...м-мармелад люблю.

\* \* \*

Вот и я вам скажу, милые мои читатели:

— Я ...Тбилиси люблю.

Я ведь человек, хотя и стихи пишу...

И велика ли беда, если ненадолго я сбегу от дневного света и запрусь в древнем книгохранилище?

Да, мир испытывает грандиозное преобразование, мир борется, мир стремится в завтра, но подождите, дайте перевести дух...

Я Тбилиси люблю — семицветную радугу. Мне удалось подобраться к ней, приподнять завесу над тайной, сокрытой завесой времени.

И прорвался на волю кристально-чистый родник — источник волшебной поэзии. Я припал к нему жадно, не оторвать, и струя его отныне течет в моих жилах.





Я не стану вас уверять, что открыл гениев — пусть лавры раздает тот, чья должность — их раздавать. Я что — комитет по лаврам? Нет и нет. Но я наслаждался плодами прекрасного дерева, которое почему-то считают дичком, — и я постарался развеять этот предрассудок. Это дерево живет и переживет многие деревья, и вкус его плодов — неповторим!

Я Тбилиси люблю.

И говорю вам, друзья мои, братья-писатели грузинские: не отдадим Тбилиси археологам, сами его раскопаем, оживим, вдохнем вольного воздуха, полюбим, как любят поэты свое первое стихотворение.

Да, я человек современный, вполне, потому и призываю не отдавать Тбилиси археологам. Красота для жизни, а не для музея.

Быть может, иностранцам наши кривые улочки и дома, налепленные друг на друга, покажутся и негигиеничными и несовременными, но для меня, и не только для меня, в них таится нечто большее, в них звуки песен и мудрость народная, в них то, что мы называем источником бессмертия нации.

...В жизнь вторглась техника: новый дух, новое мышление, одним словом, новый человек с новой конструкцией психики. Он вторгся как-то вдруг, с ходу, и с той же внезапностью исчез из литературы настрой романтического духа.

Но...

Я Тбилиси люблю...

Люблю эту колыбель поэзии, беспечную богему, трепетное сердце Грузии, это... начало и конец моего существования.

Тбилиси — Цагвери  
1926—1927 годы.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Ага-Магомет-хан Каджар* (1742—1797). Основатель династии Каджаров, господствовавшей в Иране до 1925 года. После смерти шаха Керим-хана-Зенда ему удалось захватить власть. После покорения сопредельных Ирану Армении и Азербайджана он с тридцатипяти-тысячным хорошо обученным и вооруженным войском пошел походом на Грузию. Поводом к тому послужил грузино-русский трактат («Дружественный договор») 1783 года, всполошивший весь мусульманский мир. В 1795 году Ага-Магомет-хан направил грузинскому царю Ираклию II ультиматум. Вот его заключительные строки: «...Твое высочество (!) знает, что в продолжение ста поколений вы были подвластны Ирану. Теперь с удивлением видим мы, что ты примкнул к русским. Ты человек девяти-десяти лет и такое допускаешь: привел неверных, соединился с ними и даешь им волю... Теперь, когда милостью всевышнего, силой которого достигли мы величия несравненного, великая наша воля, чтобы ты, как человек разумный, порвал с русскими. Если приказания не исполнишь, то в самое короткое время совершим мы поход на Грузию, прольем вместе русскую и грузинскую кровь и из нее создадим реку наподобие Куры...»

(«Сб. материалов для описания племен и местностей Кавказа», Выпуск 29, с. 148, Тифлис, 1901.)

Ираклий II не пожелал признать себя вассалом Ирана и в начале сентября 1795 года шахское войско двинулось на Тбилиси. Шах вторгся в город, разграбив и разрушив его почти до основания; царский дворец, пушечный завод, арсенал, бани, монетный двор... Это было последнее и самое беспощадное разрушение города, в котором почти не оставалось жителей.

2. В. Потто. «Памятники времен утверждения русского владычества на Кавказе». Вып. 1. Тифлис, 1906, с. 74. Вариант легенды использован великим грузинским поэтом Акакием Церетели (1840—1915) в исторической поэме «Баши-Ачуки»\*.

3. «...занимаясь изучением эпохи и творчества Саят-Нова...»

*Саят-Нова* (1722—1795) псевдоним выдающегося армянского поэта Арутюна Саядяна. Уроженец Тбилиси, он писал стихи на грузинском, армянском и азербайджанском языках. Одно время был придворным поэтом царя Ираклия II. В 1768 году удалился в монастырь. В 1795 году был убит солдатами Ага-Магомет-хана, похоронен в подворье армянской церкви Сурп-Георга. Наиболее яркий представитель поэзии ашугов, создатель целой школы тбилисских ашугов XVIII века, которая в течение почти столетия после его смерти была выразителем жизни, мыслей и стремлений простонародья. В монографии «Саят-Нова», вышедшей в свет в 1918 г., И. Гришашвили впервые опубликовал 28 грузинских стихотворений поэта-певца; на сегодняшний день известны 35 его грузинских стихотворений.

4. Газета «Муша» («Рабочий»), 1926, 3 дек. № 1212.

5. *Гора Святого Давида*, или *Мтацминда* («Святая гора») — историческая традиция связывает ее название с именем Давида Гареджели, одного из тринадцати сирийских монахов-миссионеров, проповедовавших в Грузии в VI в. христианство. По преданию, по пути в пустыню Гареджи (Восточная Грузия), Давид поселился в гроте на горе, названной впоследствии его именем, и построил здесь часовню (существующая ныне церковь Св. Давида построена в XIX веке).

Некогда покрытый густым лесом склон Мтацминды был выжжен и вырублен во время многочисленных вражеских нашествий. С первой половины XIX в. часовня Св. Давида вновь

\*Курсивом выделены примечания Иосифа Гришашвили.



стала местом паломничества. Здесь были погребены зять грузинского поэта, основоположника грузинского романтизма Александра Гарсевановича Чавчавадзе, русский драматург и государственный деятель Александр Сергеевич Грибоедов (1795—1829), и его дочь, жена А. С. Грибоедова — Нина Александровна. Ныне на Мтацминда расположен Пантеон, где похоронены видные представители грузинской литературы, культуры и науки.

6. Название Нарикала, по предположению И. Гришашвили, состоит из имени собственного — Нари и кала (араб. Kalah) — крепость, укрепленный пункт. Словом «калаки» в Грузии называли густонаселенный пункт, город.

7. *Вахушти Батонишвили* — царевич Вахушти Багратиони (1696—1756), выдающийся историограф и государственный деятель, сын Вахтанга VI. С 1725 года жил в Москве, куда со всей семьей и многочисленной свитой эмигрировал его отец. Здесь он завершил свой обширный историко-географический труд «Описание царства Грузинского», который включает в себя этническо-географическое описание страны и ее историю от легендарного «Начала Земли Грузинской» до событий середины XVIII века.

8. «...Во времена царя Вараз-Бакура построена была здесь крепость Шурис-Цихе»... — т. е. во второй половине IV, в начале V вв. Вараз-Бакур — ставленник вторгшегося в Грузию в 368 году персидского царя Шабура — построил по сведению одного из летописцев «Картлис цховреба» Леонтия Мровели «Крепость зависти» («Шурис-Цихе»), противопоставив свою твердыню резиденции грузинских царей Мцхета. Однако по мнению некоторых историков (акад. С. Каухчишвили) название «Шурис-Цихе» возникло в результате неправильного прочтения слова «Шурис» — «Зависть», вместо «Шорис» — «Между», дело в том, что Вараз-Бакур после долгой борьбы за власть помирился со своим родственником Саурмагом и поделил царство на земли по правую и левую стороны Куры.

9. *Вахтанг I Горгасал* (446—502) — грузинский царь. Вел упорную многолетнюю войну за национальное освобождение, своими подвигами снискав любовь и поддержку народных масс. Среди множества легенд, связанных с его именем, есть и легенда, приписывающая ему основание Тбилиси вокруг обнаруженных им во время охоты горячих источников («Тбилиси» — «теплый город»). Для его основания, помимо горячих серных источников, были и более важные причины: здесь пролегла дорога из Картли в Иран, сюда сходились пути из богатых сельскохозяйственных районов, подступы к городу благодаря реке и гористому рельефу легко было укрепить. Царь взялся за строительство, но успел заложить только фундамент (надо полагать, городских стен). Непрочный мир с персами вскоре был нарушен, а Вахтанг I убит в бою.

10. *Царь Дачи* (годы правления 502—514), сын Вахтанга I. Следуя завещанию отца, не только построил город, но и перенес сюда столицу, сосредоточив во Мцхета духовную власть. В годы правления Дачи — годы победы новых феодальных отношений — расцвет торговли и ремесел требовали нового административного центра, расположенного в выгодной, узловой для связей местности. Таковым был Тбилиси.

11. *Мерван* — военачальник арабского халифа, прозванный грузинами «Кру» («Глухим») за неслыханную жестокость. В 736—738 годах Мерван во главе арабских карательных отрядов вторгся в Грузию, восставшую против арабского произвола. Мерван (в грузинских источниках Мурван) разрушил множество городов и крепостей, среди них наиболее значительный в восточно-грузинском царстве Армазский кремль — близ Мцхета. До Тбилиси его отряды не дошли, но сопротивление грузин арабскому владычеству было сломлено, и арабы почти на два столетия завладели страной.

12. «...после Мурвана-кру его разорили хазары...» — речь идет, очевидно, о втором нашествии хазар (764). Первое нашествие хазар относится к 627 г., когда византийский император Ираклий, заключив союз с хаканом (предводителем племени), вторгся в Картли, находящуюся под влиянием персов, с которыми Ираклий вел успешную борьбу. Византийцы и хазары осадили Тбилиси, где располагался персидский гарнизон, и после длительных боев завладели городом. Причиной нового (второго) похода хазар явилось их нежелание подчиниться арабам, избравшим Тбилиси плацдармом для покорения северо-кавказских народностей. В 764 г. хазары опустошили Картли, перебили владетелей страны и разрушили Тбилиси.

13. «...по опустошении же и разорении Мцхета он сделался престольным градом Багратидов» — т. е. после 523 года, когда Иран, воспользовавшись перемирием с Византией, вновь захватили Восточную Грузию и царская власть в ней была упразднена. Однако резиденцией Багратидов — династии грузинских царей — Тбилиси становится гораздо позднее: сперва ненадолго при Баграте IV (1027—1072), затем, окончательно, при Давиде Строителе в 1122 году. До того город управлялся старейшинами. По сведениям «Картлис цховреба» тбилисские



старейшины «пришли (к царю Баграту) и призвали его, ввели в город... вручили ключи и посадили во дворце эмира (наместника арабского халифа)».

14. *Сеид* (араб. Сейид) — почетное прозвище потомков пророка Мухаммада, пользовавшихся почетом и авторитетом среди мусульман. С течением времени в большинстве стран Востока (надо полагать и в Тбилиси) термин потерял свое особое значение и стал обозначать просто «господина», «начальника». В середине XVII века один из кварталов Тбилиси был назван Сеидабадом — «поселением сеидов».

15. По плану Тбилиси 1800 года у города было шесть ворот, из которых главными считались «торговые» — Гянджинские ворота.

16. *Сиони* — кафедральный собор Тбилиси. Строительство тбилисской Сионской церкви было начато в VI и завершено в 20 годах VII века при эрисмтаваре («правителе») Адарнасе, по летописным сведениям в строительстве участвовало все население города. Сионский собор в течение веков не раз был разрушен иноземными завоевателями. От первоначальной постройки сохранились отдельные фрагменты. В своем нынешнем виде он, в основном, относится к постройке XI—XII вв. Барабан купола и часть фасадной облицовки восстановлены царем Вахтангом VI; внутри — роспись XVI в. (1850—1860 годы). О том, как он выглядел во времена, описываемые в «Литературной богеме», мы находим справку у русского историка А. Н. Муравьева: «...Я просил моего приятеля вести меня в Собор Сионский, чтобы поклониться там первой святыне Грузии — виноградному кресту Святой Нины, просветительницы Грузии. Древнее святилище вросло в землю под тяжестью веков... И печать давно минувших лет лежит на его тяжелой массе, сложенной из дикого желтого камня. Та же священная тишина обвевала меня и во глубине храма, мрачного, как наши древние соборы, с узкими окнами, мало проливающими света, но с куполом остроконечным во вкусе грузинском...» (А. Н. Муравьев. «Грузия и Армения», ч. 1, СПб, с. 213).

17. *Католикос* (греч. «священноначальник»). Установление этого сана в Грузии летописи относят ко времени правления Византийского императора Константина Мономаха (середина XI в.). Католикос в Грузии назначался царем, однако посвящал его в сан собор епископов и сместить его не могли без согласия Константинопольского патриарха.

18. *Анчисхати* (1 половина VI в.) — вторая (после Сионского собора) древнейшая грузинская церковь на территории Тбилиси. Названа так по перенесении сюда из местечка Анчи (Южная Грузия) в 1664 году, так называемого «нерукотворного образа Спасителя».

Родиной легенды о «нерукотворном» изображении Иисуса Христа является город Эдесса. Существует несколько грузинских преданий об анчийской иконе. Наиболее древнюю из них передает епископ Иоанн Анчели Ркинаэли (XII в.) «Андрей Первозванный, ученик господя, привез из Иераполя нам, чтящим его, страшный образ, который явился силой и опорой нашей в борьбе с врагами».

19. Храм Метехской Божьей Матери — «*Метехи*» (происхождение названия не выяснено) — один из наиболее замечательных памятников архитектуры Тбилиси и, по сложившейся исторической традиции, — один из самых древних. В исторических же источниках Метехская церковь впервые упоминается в связи с событиями XII века. Древняя церковь, по-видимому, погибла во время монгольского нашествия в 30-х г. XIII века. Нынешняя построена в 1278-89 гг., при царе Дмитрие II «Самопожертвователе» с сохранением первоначального плана. Полностью восстановлена в XVI—XVIII веках.

20. *Або Тбилели* — юноша-мусульманин, принявший христианство, за что был сожжен арабами в конце VIII в. У подножья горы, на которой стоит Метехская церковь, в месте, где были сброшены в Куру его останки, была воздвигнута часовня. Смерть Або описал Иоанн Сабанидзе в повести «Мученичество Або Тбилели», где он, современник событий, нарицал картину жизни Грузии, в частности, Тбилиси, в пору владычества арабов.

21. О миссионерах-католиках в Грузии сообщается в книге: «Александро-Невская академия». Историческое изображение Грузии в историческом, политическом и учебном ее состоянии, 1802 г. «...С 1625 года и католические миссионеры Театинского ордена (очевидно Тевтонского — Н. Т.), приехавши через Константинополь в Грузию, поселились в оной и живут до ныне. Первый старшина сей миссии отец Авитаболис в 1631 году рапортовал уже папе Урбану VIII об успехах своего посольства и описывал Грузию по религии, нравам и правлению... С тех пор римские миссионеры капуцинского ордена имеют места своего пребывания в Тифлисе, Гори (Гори), Кутаиси, Мингрелии и Ахалцихе. Они успели даже обратить в свою веру и несколько грузинского народа, вкравшись в доверенность одного посредством разных лекарств, ему раздаваемых».



22. Цитируется с незначительными сокращениями, полный текст см.: «Картлис цховреба», изд. «Сабчота Сакартвело»; Тб., 1974, с. 338—340, на груз. яз.

23. «Целидзеули» (сборник «Грузинского языковедческого общества») № 1—11; 1923—1924; с. 344, на груз. яз.

24. Петрз Мирианавили. «В чем провинился город», газ. «Иверия», 1900., № 208.

25. Архитектура караван-сарая, в общем и в частности, немногим отличается от подобных же построек в Персии. Там караван-сарай строят из кирпичей и лучшие из них имеют следующую форму: вокруг четырехугольного продолговатого двора идут в два этажа утаги — комнаты аркадами; посередине каждой из сторон здания строятся — разумеется, в общей с ним связи, — высокие порталы для входа. Гладко вымощенный камнем или кирпичом двор обсаживается в два ряда деревьями, образующими аллею; в одной стороне двора — большой каменный бассейн с водою для потребностей обитателей караван-сарая. В лучших караван-сараях, где помещаются ценные товары, нижние комнаты служат конторой, а верхние — магазином или помещением для самого купца; в таком случае в комнатах нижнего этажа передняя стена состоит из большой рамы со стеклами, которая на ночь запирается деревянными ставнями. При каждой лавке есть сбоку передняя. Караван-сарай называют или по имени какого-нибудь торговца, или по сортам товаров, преимущественно продаваемых здесь, или, наконец, по имени городов, к которым принадлежат приезжие, в них останавливающиеся...» («Тифлис в историческом и этнографическом отношении», с. 115).

26. Чоха (турецк. «Чуха») — наиболее распространенная на Кавказе мужская верхняя одежда, с глубоким вырезом на груди, газырями и рукавами раструбом.

27. Лахти — грузинская народная игра. Игроки, попеременно, делаются на «защитников» и «нападающих», которые должны выбить из очерченного и охраняемого защитниками круга какие-нибудь предметы: ремни, оружие и т. п. Игра требует ловкости, силы, реакции.

28. Ираклий II — (1720—1798), царь объединенного Картлино-Кахетинского царства (Восточной Грузии), выдающийся государственный деятель и полководец. Со дня своего вступления на престол (1762 г.) повел решительную борьбу с феодальной раздробленностью, первым предпринял реальные шаги на пути тесного сближения с Россией, которые привели к подписанию Грузино-русского трактата 1763 года. Трактат гарантировал независимость государственных, общественных и законодательных институтов грузинского царства, которое становилось под протекторат Российской империи. Знаток и охранитель народных нравов и обычаев, Ираклий II всемерно их поощрял, покровительствовал борцам, кулачным бойцам, ашугам и сказителям. Личность Ираклия II и его деятельность стали одной из значительных тем грузинской художественной литературы и фольклора.

29. Абаз — разменная монета, равная двугривенному (20 коп.).

30. «Картлис цховреба» («Житие Картли» или «Летопись Картли» — Грузии) — сборник историографических сочинений ряда авторов, повествующих о жизни грузинского народа с древнейших времен до XIV в. (древний цикл) и от XIV до XVII в. (новый цикл). Произведения древнегрузинских историков дошли до нас в несколько измененном, сокращенном виде, что, по-видимому, было продиктовано необходимостью иметь в стране единую книгу, последовательно отображающую факты грузинской истории. Эта работа и была проделана редакторами, начиная с X века — времени полной централизации государства. Дошедший до нас сборник «Картлис цховреба» состоит из двенадцати исторических памятников, из которых первые десять рассказывают о древней истории Грузии (до XIV в.), остальные два охватывают XIV—XVII вв.

31. Гавриил-архангел — «вестник бога», являющийся людям в особо важные моменты жизни.

32. Письма Л. Н. Толстого. СП-Б, 1910, с. 13.

33. И. Чавчавадзе, «Сочинения», т. 3, с. 309, (на груз. яз.)

34. Зичи Михай (1829—1906) — венгерский художник — график и живописец. С 1847 года жил в России, где создал множество рисунков, живописных полотен. Иллюстрировал произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Шекспира, Гёте, Байрона и др. В 1884 году Михай Зичи приехал в Грузию, где сблизился с лучшими представителями грузинского общества. Через четыре года (1888) М. Зичи, к тому времени академик и придворный живописец, передал «Тифлисскому литературному обществу» серию иллюстраций к «Витязю в тигровой шкуре», сопроводив надписью: «Тифлисскому литературному обществу в знак моей симпатии и сердечной благодарности к грузинскому народу. Зичи, С.-Петербург. 10 марта 1898 г.». Это были первые иллюстрации к гениальной поэме Руставели.

35. *Орбелиани Григорий Дмитриевич* (1801—1883) — грузинский поэт-романтик, государственный и общественный деятель, боевой генерал. Патриотизм, идеализация исторического прошлого Грузии — главные черты его творчества, которое оказало несомненное влияние на городскую поэзию.

36. *Письмо Гр. Орбелиани к Нико Чавчавадзе взято нами из архива Ионы Меунаргия.*

37. *Ермолов Алексей Петрович* (1777—1861) — русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года. Был назначен главнокомандующим на Кавказе, командиром Отдельного Кавказского корпуса и послом в Иране.

38. *Зурна (араб. сурна) — «Труба Иерихона». Наша зурна похожа на кларнет. Выточена она из камыша. Однако, т. н. «походная» зурна отливается из металла. Зурной обыкновенно называют три музыкантов — две зурны и доли (род барабана).*

39. «Квали», 1893., № 4.

40. *Цицианов Павел Дмитриевич* (1754—1806), в 1802 году был назначен главнокомандующим в Грузии, инспектором Кавказской линии и Астраханским губернатором. Происходил из знатного грузинского рода князей Цицишвили. Его дед при Петре I эмигрировал в Россию вместе с царем Вахтангом VI. П. Д. Цицианов приходился родственником жене последнего грузинского царя — Георгия XII Ираклиевича, и правительству Александра I надеялось, что с его помощью удастся успокоить страну и примирить дворян-помещиков с потерей самостоятельности Карталино-Кахетинского царства. П. Д. Цицианов прибыл в Тифлис в начале 1803 года и первым делом переселил в Россию членов царской фамилии и передал их имения в казну. Лишив феодальную знать политической власти, он предоставил особые льготы грузинскому дворянству. Город, однако, несмотря на некоторый прирост населения, существенных изменений не претерпел.

41. См.: «Кавказский сборник» 1908 г. 48—60 с.

42. *Воронцов Михаил Семенович* (1782—1856), с 1844 по 1856 г. служил наместником царя на Кавказе и главнокомандующим Кавказской армией.

При нем в Тбилиси открывается первый русский театр; начинает издаваться «Кавказский календарь» и газета «Кавказ», открывается женский пансион, школа кавказских межевщиков, на пустоши (нынешняя площадь В. И. Ленина) закладывается фундамент большого каменного театрального здания, открываются различные выставки, издается приказ о создании Публичной библиотеки и Тифлисской магнитной и метеорологической обсерватории, открывается оперный сезон. Наряду с этими начаты работы по благоустройству и расширению города: проводятся дороги, выстраиваются 2—3-этажные дома и т. д.

43. *Царица Тамар*, дочь Георгия III, царствовала в 1184—1213 гг. (но уже раньше, при жизни отца, была объявлена соправительницей). При ней могущество грузинской феодальной монархии достигло вершины, хотя и давало о себе знать резкое обострение социальных противоречий. Время царицы Тамар — завершающий этап «Золотого века» средневековой грузинской культуры, время блестящего расцвета архитектуры, искусства и, особенно, светской поэзии (Руставели, Чахрухадзе и др.). Имя Тамар, овеянное легендами, занимает большое место в грузинском фольклоре.

44. *Светицховели* (столп животворящий) — выдающийся памятник грузинского зодчества XI века. Первоначальная постройка собора относится к IV веку. В середине V в. царь Вахтанг Горгасал на том же месте построил новую церковь. Строительство нынешнего собора было начато в 1010 г. и длилось девятнадцать лет.

45. *Храм Самтавро* («Место правителя») — построен в первой половине XI в. По преданию, прежде здесь был разбит царский сад, где жила просветительница Грузии св. Нино.

46. П. Меликишвили. «Мои воспоминания». Жур. «Картули мцэрлоба» (на груз. яз.), 1927, № 5, с. 147.

47. «Комунисти» 1927 г. № 133.

48. «Законы царя Вахтанга», параграф 218.

*Царь Вахтанг VI* (1675—1737) — выдающийся государственный деятель, который возглавлял всю интеллектуальную жизнь Грузии первой трети XVIII века. Под его непосредственным руководством и участием велась обширная работа по собиранию сведений об историческом прошлом грузинского народа, восстановлению древних памятников архитектуры, созданию и популяризации переводной и оригинальной литературы. По его инициативе впервые в Грузии была налажена типография и в 1712 г. отпечатана поэма Руставели «Витязь в тигровой шкуре» под редакцией и с комментариями Вахтанга. Отрешенный от престола и посланный шахом Ирана в 1712 году, он, после неудачной попытки найти союзников в лице



западноевропейских держав, формально отрекся от христианства и в 1719 г. вновь обрел престол. В 1712 г. Вахтанг VI тайно вступил в военный союз с Петром I для совместного похода на Иран, но Петр отложил персидский поход, и в 1724 году Вахтанг эмигрировал в Россию в сопровождении огромной свиты, где и умер в 1737 г. Помимо обширного литературного наследия, ему принадлежат «Дастурлама» и «Книга правосудия», известные под названием «Законов царя Вахтанга». Это уголовный, моральный и нравственный кодекс Грузии позднефеодалной поры, который фактически не терял силы почти до середины XIX в., т. е. поры, когда в Грузии уже функционировали правовые учреждения европейского типа.

49. «Тамариани» — сборник хвалебных стихотворений, посвященных деңням царицы Тамар и ее мужа Давида Сослана. Автор «Тамариани» — поэт-описец XII в. Чахрухадзе положил в его основу мессианистическую идею о божественном происхождении царицы Тамар, спасительницы человечества. Незаурядное версификаторское мастерство автора, его глубокая эрудиция являются наглядной иллюстрацией расцвета грузинской светской литературы XII в.

«Лейлмеджунуани», «Иосеб-Зилиханиани» — сочинения царя Теймураза I.

50. Ганджафа — игра, состоящая из инкрустированных костяных пластин (фишек), каждая из которых выражала определенную цифровую величину. Ганджафа напоминала карточную игру в «очко». Савазихурхи (перс.) — «красное и зеленое», похожа на игру в шашки. Тагнуишиши (груз.) — «кошки-мышки». Описание этой игры не сохранилось.

51. «Хронограф» — сочинение византийского историка Георгия Амартола (IX в.). Хроника, где перечислены события от Адама до императора Михаила III. Грузинский перевод (3 книги) принадлежит Арсению Икалтоэли (ок. 1050—1125), выдающемуся общественному деятелю, богослову и историку, основателю Икалтойской академии.

52. «Ситквис кона» — толковый словарь грузинского языка, составленный Сулханом Саба Орбелиани (1658—1725), выдающимся грузинским писателем и государственным деятелем, автором оригинальных произведений («Мудрость вымысла», «Путешествие по Европе»), ряда богословских сочинений и переводов. Он же обработал древнеиндийский эпос «Калила и Димна», переведенный царем Вахтангом VI.

«Мудрость вымысла» — самое значительное произведение С. Орбелиани, представляет собой сборник басен, анекдотов и новелл дидактического характера, в которых выражены просветительские идеи автора, его вера в торжество гармонически развитой личности.

53. Теймураз I (1589—1663) — наиболее яркий апологет персидской поэтической традиции, вероятно в силу воспитания, полученного им при дворе шаха Аббаса I. Воспитание однако не сказалось на его политических взглядах и после того, как шах в 1605 г. возвел Теймураза на престол Кахетинского царства, он с матерью стал разрабатывать планы освобождения Восточной Грузии от вассальной зависимости. Шах Аббас опередил их, вторгся в Кахетию и разорил ее. Мать Теймураза, сестра, дочь и двое сыновей погибли мученической смертью. Сам он был вынужден скитаться и искать покровительства то у турецкого султана, то у московского царя Алексея Михайловича, которого лично посетил в 1650 году. Все попытки вновь обрести престол оказались бесплодными, и Теймураз умер изгнанником в персидском городе Астрабаде. Трагическая судьба и ненависть к Ирану не отразились на его литературных вкусах. Достаточно сказать, что все перечисленные в Списке приданого поэмы «Иосебзилиханиани», «Вардбулбулиани», «Шамипарваниани» — суть переложения на грузинский язык известных персидских поэм («Иосиф и Зулейха», «Соловей и роза», «Свеча и мотылек»). В той же манере написана его лирическая поэма «Маджама».

54. По-видимому, речь идет о сочинениях Аристотеля, переведенных на грузинский язык Антоном Багратиони (1720—1788) в середине XVIII века, хотя еще в VI веке полужения аристотелевского учения и его сочинения хорошо были известны в Грузии.

55. Грузинская прозаическая версия «Висрамиани» является вольным переводом поэмы персидского поэта XI в. Фахруддина Гургани. Грузинский перевод исполнен в эпоху царицы Тамар (перелом XII—XIII вв.; некоторые исследователи приписывают его Саргису Тмогвели). Он отличается исключительными художественными достоинствами. Прибегнув к национальным образам и изречениям, сделав ряд вставок, переводчик приблизил персидскую поэму к грузинскому читателю. Наряду с оригинальными произведениями, «Висрамиани» занимает почетное место в развитии древнегрузинской литературы. В дальнейшем «Висрамиани» был переложен на стихи царем-поэтом Арчиллом (1647—1713). «Караманиани» — рыцарско-приключенческий роман. Произведения этого жанра пользовались популярностью в Грузии XVI—XVII вв. Переведен с персидского Давидом Орбелиани в 1762—74 годах.



56. «...С того времени, как введено в Тифлисе магометанство»... т. е. с первой половины XVII в., когда в Восточной Грузии (Картли), находящейся в вассальной зависимости от персов, начали править цари-мусульмане или наместники шаха «вали». Такого рода политическая форма взаимоотношений Картли с Ираном оставалась в силе до второй четверти XVIII века. Первым вали Картли был Ростом (1632—1658 г.). События, описанные Шарденом, относятся ко времени наместничества Шахнаваза (1658—1675 гг.), который лишь формально был магометанином, исповедуя втайне православие.

57. Шарден Жан (1643—1713) — французский путешественник. В 1665 году, по поручению отца, ювелира и торговца ювелирными изделиями, отправился в Индию. На обратном пути он остановился в Иране, где провел четыре года. «Путешествие в Грузию» написано после его второй поездки на Восток (1671 г.), в частности, — Иран, куда он ехал через Константинополь и Кавказ, в сопровождении художника Грело и проводника. «Путешествие» Шардена является одним из значительных источников изучения истории Грузии XVII века.

58. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 т. АН СССР М.-Л. 1957. т. IV, с. 659—661.

59. Александр Дюма. «Кавказ», вып. 11, Тифлис, 1861, с. 467—468.

60. Чадра — легкое белое, синее, реже черное покрывало, в него с головы до ног закутывались женщины-мусульманки при выходе из дома, оставляя открытыми лишь глаза.

61. «Шах-Намэ» — героическая эпопея Фирдоуси, переведена в XII в. под названием «Ростомiani» — по имени героя поэмы Рустема; однако списки древнего перевода были утеряны. Новый перевод создавался в разное время в течение XV—XVII вв. разными лицами частью стихами, частью прозой.

62. Фогельвейде, Вальтер, фон дер (ок. 1160—1228), средневековый немецкий поэт, наиболее выдающийся из миннензингеров, слагателей рыцарских песен, в основном любовного содержания. Их искусство возникло под влиянием провансальских трубадуров.

Трубадуры — поэты средневековой южной Франции (Прованс и другие области), главным образом из рыцарского сословия — высшего слоя феодального общества, во порою и лица незнатные, посвященные в рыцарство в силу каких-то особых заслуг. Поэзия трубадуров начинается в конце XI века. Основные ее мотивы — служение избранной, идеализированной даме, строго разграниченная возвышенная и чувственная любовь. Творчество трубадуров оказало значительное влияние на всю европейскую лирику.

63. Иоганн Вольфганг Гёте (1749—1832), говоря о семи великих поэтах («Персидские лирики» М, 1916, с. IX), впадает независимо от себя в ошибку. Дело в том, что немецкий востоковед Иосиф Хаммер, по работам которого Гёте ознакомился с персидской поэзией, в своем переводе «Дивана» Хафиза, соединил наиболее понравившихся ему персидских поэтов в магическое «семизвездие»: Фирдоуси, Низами, Энвери, Даилал-Эд-дина, Руминского, Саади, Гафеза и Джами, исключив всех крупных поэтов Ирана X—XV вв. Таких, к примеру, как Омар Хайяма, Атара, Хосрова Дехмийского и многих других.

64. Нирвана (Санскрит — «Угасание»). Учение Будды о блаженстве, достигаемом в результате возвышения над страстями и жадой жизни.

65. Гурамишвили Давид (1705—1792) — выдающийся поэт, автор «Давитиани» — сборника поэм и стихотворений. Наиболее значительная историческая поэма Д. Гурамишвили «Беды Грузии» — монументальное произведение, в котором отобразились трагические события грузинской истории XVIII века. Тяжкие испытания самого Давида Гурамишвили, — он был похищен лезгинами, бежал в Россию, переехал в Москву, принял русское подданство, в начале Семилетней войны попал в плен, под конец жизни ослеп совершенно, — нашли свое отражение в поэме, придав ее эпической величавости глубокий лиризм. Значение творчества Д. Гурамишвили в истории грузинской литературы заключается еще и в том, что он полностью освободил грузинский стих от вычурно-цветистой восточной экзотики и, опираясь на поэтику Руставели и устной народной словесности, создал оригинальную, образную систему. Наиболее ярко она проявилась в второй поэме Д. Гурамишвили «Пастух Кацвия» — реалистическом жизнерадостном произведении, чарующем своей простотой, юмором и легкостью повествования.

66. «Калмасоба» — наиболее значительное произведение Иоанна Батонишвили — своеобразная энциклопедия грузинской социальной и общественно-политической жизни начала XIX века. В острой сатирической форме в произведении изображены представители правящих феодальных кругов, которых автор считает виновниками падения грузинского царства. Помимо критики феодальной аристократии в «Калмасоба», написанном в форме записок





путешественника («Хождения по податям») встречается множество сведений научного и литературного характера. Здесь мы находим и описание встречи с Саят-Новой-монахом. «И пошел он к Ахпату, осмотрел и тамошне церковь и строения, которые весьма ему понравились, и тогда монах некий из армян пригласил Иоанна к себе в келью, и он пошел с ним. Приведя в келью, настоятель спросил о причине его путешествия. Иоанн все рассказал. И потом они немного побеседовали, и настоятель поднес Иоанну завтрак, и они начали есть, и хорошего поднес, и сам приступил к трапезе. Потом настоятель сей взял чонгури и начал играть на нем и затём запел песню...» Иоанн-дьякон с изумлением смотрел на него и сказал: «увы, бедный, как он скорбит по утерянному свету? И прибавил: «Отче, ты монах, не ходи налево».

67. Азира. «Акакий и Саят-Нова», «Театр и жизнь», 1916, № 46, на груз. яз.

68. По библейскому преданию, бог, сжалившись над притесняемым филистимлянами еврейским народом, послал им защитника богатыря Самсона.

Филистимляне, чтобы избавиться от него, собрали войско и потребовали от евреев выдачи Самсона. Евреи испугались и объявили Самсону о своем решении выдать его. Самсон позовил связать себя, но, очутившись лицом к лицу с неприятелем, разорвал путы. Он схватил валяющуюся на земле ослиную челюсть и избил филистимлян (Книга Судей 15, 9—16).

69. Чудотворный жезл, дарованный богом Моисею, как исполнителю его воли. (Исход. 4, 3).

70. По библейскому преданию, бог послал пророка Иону в Ниневию ассирийскую, чтобы принудить ее жителей покаяться в грехах, но Иона не хотел идти с проповедью в страну врагов и на корабле отправился в другую страну. Вдруг на море поднялась сильная буря, и люди на корабле решили узнать, кто из них прогневил бога. Жребий пал на Иону. Он признался, что согрешил перед богом, и велел бросить себя в море. Буря тотчас же утихла, а Иону, по велению бога, проглотил кит, в чреве кита провел он три дня и три ночи, моля господина о помиловании. На четвертый день кит выбросил его на берег Ниневии, и он добился, что жители города «в страхе перед всемогущим творцом раскаялись в грехах». (Кн. пророка Ионы).

71. «Кер-оглы» — сборник народных легенд и преданий Ближнего Востока и Средней Азии. Кер-оглы (туркм. «Сын слепого») во всех версиях преданий выступает как поэт-импровизатор, народный герой, который мстит хану за то, что тот ослепил его отца, отнимает у богатых и одаряет бедных.

72. Азира — «Театр и жизнь», 1916, № 46.

73. Каджи — нечистая сила, домовые; Дэви — один из постоянных персонажей грузинских народных сказок, злой или добрый дух.

74. «Русуданиани» — популярный в Грузии в эпоху позднего средневековья героико-фантастический роман, являющийся, по-видимому, сборником переводных произведений, составленных по определенному плану и приспособленных к грузинской действительности. Последнюю редакцию этой древней повести исследователи относят к XVII веку.

75. «Балавариани» или «Мудрость Балавара» — грузинская редакция известной индийской повести «Варлаам и Иотасаф» — христианизированного рассказа о жизни Будды.

76. См.: «Былое», 1924 г., с. 95.

77. Ниношвили (псевд., настоящая фамилия Ингороква) Эгнате Фомич (1859—1894) — грузинский писатель. В рассказах и повестях отобразил социальную обстановку в грузинской деревне после отмены крепостного права. Призывал к борьбе со старыми общественными отношениями.

78. См.: Мих. Чодришвили, «Мои приключения», 1927 г., «Сахелгами», с. 71, на груз. яз.

79. Мих. Лемке. «Николаевские жандармы», 1909 г., с. 226.

От переводчика	5
О Тбилиси	7
Сердце Грузии	9
Городской язык	10
Карачохели и кинто	13
Бечара	17
Каэноба	19
Криви	21
Амкроба	25
Приданое	34
Баня	41
Ашуги	46
Азира	57
Библиотека	63
Скандарнова и Гивишвили	69
Гражданские мотивы	80
Антон Ганджискарели	90
Иэтим Гурджи	95
Послесловие	102
Примечания	104

**ГРИШАШВИЛИ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ**  
**ЛИТЕРАТУРНАЯ БОГЕМА СТАРОГО ТБИЛИСИ**

Редактор *А. Перим*. Художественный редактор *Н. Нариманидзе* Технический редактор  
*О. Немировская* Корректор *Э. Урушадзе*

ИБ — 3398. Сдано в набор 03.10.88. Подписано в печать 21.02.89. Формат 70×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум.  
офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,19. Усл. кр.-оттиски 8,19.  
Уч. изд. л. 12,62. Тираж 20.000 экз. Заказ. № 1935. Цена 3 руб.

Издательство «Мерани» 380008, Тбилиси, пр. Руставели, 42.  
Смоленский полиграфкомбинат 214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1:

**იოსებ გრიგოშვილის ძე გრიშაშვილი**

**ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოგემა**

(რუსულ ენაზე)





3 руб.

587

T5.694

3

